



**Грета Ионкис,
Германия, Кёльн**

Грета Ионкис, наш постоянный автор, предлагает читателям «Мнемозины»-3 главы из своей последней книги «Утраченный воздух», посвященной Кишинёву. В ней представлены фрагменты двухвековой истории города (1812-2013). Автор ставила целью проследить, когда и как родился «особенный еврейско-русский воздух», как им дышалось более полувека и как он исчез безвозвратно.

1928 ГОД, ИЛИ ЧЕБУРАШКА, ТЫ НЕ ПРАВ!

Пришла пора ввести в рассказ нового героя, не губернатора, не градоначальника, не архитектора, не поэта, а простого бессарабского еврея, уроженца Кишинёва, современника и свидетеля тех катаклизмов и потрясений, которые выпадут на долю города и его обитателей в пору смены веков в истории XX века. С его помощью можно попытаться представить жизнь нижнего города в трудное переломное время, проследить трансформацию и метаморфозы, которые произошли с Кишинёвом за последние 85 лет.

Исаак Ольшанский появился на свет в начале 1928 года. Это был год печального юбилея: 25 лет назад на второй день Пасхи в Кишинёве случился дикий еврейский погром, который сделал этот маленький провинциальный городок известным всему миру. Да, четверть века пролетело... В королевской Румынии в эту пору шла к концу перепись населения. Обнаружилось, что 70% бессарабцев неграмотны и за 10 лет румынского правления на 25% сократилось число предприятий в Кишинёве. Зато в качестве компенсации то ли для умиротворения местных националистов, а быть может, для развития исторического самосознания молдаван (объяснений можно подыскать много) у входа в городской парк в 1928 году был воздвигнут памятник молдавскому господарю Штефану чел Маре работы известного местного скульптора А.Плэмэдялэ. Прежде там стоял снесённый при румынах памятник Александру II Освободителю, но свято место пустовало лишь десять лет. Штефан стоит по сей день, более того, стараниями местных националистов он теперь не только чел Маре (Великий), но и Сфынт (Святой). Так что маленький Ольшанский, сам того не подозревая, стал ровесником бронзового господаря.

А что происходило в этот год в мире? В Советской России была объявлена сплошная коллективизация, т.е. начался сгон с земли работающих крестьян, разорение российской деревни. Партийный форум большевиков исключил из своих рядов Троцкого, который ещё недавно был вторым человеком в государстве, ныне он отправляется в алма-атинскую ссылку. Принят план первой сталинской пятилетки. «Пятилетку – в четыре года!» - моё поколение выросло, возмужало и приблизилось к пенсионному возрасту под этим лозунгом. В Крыму, между тем, приключилось не согласованное с планами партии («Планы партии – планы народа!» - ещё один девиз эпохи), страшное землетрясение. Его живописали Ильф и Петров в знаковой книге «Двенадцать стульев».

В этом же 1928 году немецкий Кёльн, где ныне встретил своё восьмидесятипятилетие наш герой, после четырнадцати лет вынужденного перерыва (мировая война и её последствия!) готовился к традиционному карнавалу, иначе говоря, от радости город стоял на ушах, а пиво лилось рекой. Англия в 1928 году прощалась с патриархом литературы, последним



викторианцем Томасом Гарди. Как вы понимаете, все эти события к бессарабскому мальчику прямого касательства не имели.

Дата рождения ребёнка осталась не зафиксированной. Рождение отпрысков богатых евреев регистрировалось в книге Хоральной синагоги. Это творение архитектора Бернардацци расположилось в центре города на улице Синадиновской. В нём, перестроенном до неузнаваемости, сейчас размещается Русский драматический театр им. Чехова. Родители мальчика в Хоральную синагогу были не вхожи. Отец новорожденного, Мотл Ольшанский, посещал маленькую синагогу сапожников на Вознесенской по соседству с их домом. Это была одна из 77 синагог Кишинёва, половину населения которого вот уже несколько десятилетий составляли евреи. Удивляться этому не стоит, ведь Бессарабская губерния входила в черту оседлости, а потому евреям Высочайшей монаршей милостью дозволено было проживать в этих местах. Евреи, кто предприимчивей, из местечек просачивались в город.

К тому же в годы революционных беспорядков, гражданской войны и смены властей в России в Бессарабию бежало множество евреев Украины, спасаясь от петлюровских погромов. Осенью 1919 года в Кишинёве был создан официальный комитет помощи беженцам с Украины. Возглавил его раввин Цирельсон, ему помогали Яков Бернштейн-Коган, уже известный читателю доктор Слуцкий, инженер Готлиб и др. По всей Румынии среди евреев был организован сбор пожертвований. Сумма набралась приличная, но и её не хватило: беженцы всё прибывали (вплоть до 1924 года), большая часть без средств, без багажа, в чём стояли. Часть их (около 8 000) переселилась в Канаду, США. Южную Америку, Эрец-Израэль, нашлись немногие, кто уехал в Россию. Но большинство рессеялось по местечкам Бессарабии, многие остались в Кишинёве. Город был перенаселён. Скученность рождала конкурентную борьбу, работы не хватало. Семейство Ольшанских терпело жестокую нужду.

Мать Исаака, Ханна, неграмотная женщина тридцати четырёх лет, помнила, что на дворе стоял месяц тейвес (так в Бессарабии называли месяц тевет по еврейскому календарю), а число было вроде 20-е. Мальчик был её четвёртым ребёнком, последышем, его рождение в семье, где едва сводили концы с концами, не было радостным событием, потому день не чётко запечатлелся в памяти измочаленной жизнью женщины. Впрочем, она помнила, что оконце было заиндевелым, стало быть, стояли крещенские морозы, и соседка-христианка принесла в подарок большое полотенце, в которое и завернули новорожденного. Малыш громко плакал. Знай он, что его ждёт в ближайшие пятнадцать-двадцать лет, он кричал бы ещё громче. Дни рождения ему до совершеннолетия никогда не отмечали, что современным детям может показаться невероятным, но счёт годам мальчонка вёл. Он рано научился считать и читать.

На восьмой день, как и положено, мальчик прошёл обряд обрезания (*брит милу*). Церемония, как и роды, происходила дома, всё было очень скромно – по возможностям. В Испании в церкви в окрестностях Сарагоссы можно увидеть фреску Франсиско Гойи 1774 года «Житие девы Марии», фрагмент которой представляет Обрезание Христа. Сам акт обрезания означает заключение завета человека с Богом. Уже здесь, в Германии, довелось узнать, что весь христианский мир на протяжении тысячи двухсот лет праздновал 1 января как праздник Обрезания Господня. Но чем дальше, тем нежелательней становилось объяснять пастве истинный смысл этого праздника и напоминать об иудейском происхождении самого



Иисуса и его апостолов. Куда удобнее было представлять пришлых евреев отродьем дьявола, лютыми врагами: «Это они убили нашего Спасителя!» Вот откуда растут корни антисемитизма, приведшего к Холокосту.

В годы войны, оказавшись в эвакуации в Средней Азии без документов, подросток Ольшанский получил в 1942 году свидетельство о рождении и одновременно о восстановлении возраста. Служащая ЗАГСа Сайрамского района Южно-Казахстанской области, глядя на худенького пацанёнка, с сомнением вписала в метрику год рождения – 1928-й: в силу постоянного недокорма он плохо рос и не тянул на свои 14 лет. А вот с днём рождения вышла неувязка: мальчишка твердил: «20-го тейвеса», но женщина его не понимала, такого месяца она не знала. Как быть? И вписала она ему дату Рождества Христова – 6 января по юлианскому календарю, т.е. по старому стилю, принятому у православных. Путём сложных вычислений (евреи пользуются лунным календарём) Ольшанский уже в зрелые годы определил свой день рождения как 14 января. В итоге он отмечает день рождения дважды: на работе – по паспорту, дома – спустя 8 дней. А мог бы и трижды, если бы постоянно руководствовался лунным календарём. И после этого кто-то будет спорить, что эти евреи не хитрецы?! Чебурашка со своей песенкой («К сожаленью, день рожденья только раз в году») в этом случае просто отдыхает.

Двор как первооснова мироздания

Особенности современного градостроительства лишили наших детей и внуков понятия двор, в котором проходило детство прежних поколений горожан. Двор, несомненно, принадлежит к «вечным ценностям» Кишинёва, Одессы, всех городов Новороссии. Разумеется, дворы были разные, у каждого – свой: не сравнить двор на Пушкинской с дворами на Молдаванке и Пересыпи, это – разные миры. А Кишинёву (особенно нижнему городу) невозможно было угнаться за Одессой.

Наш рассказ исключает поэтизацию и тем более мифологизацию, будем держаться бытовых подробностей. Впрочем, в них тоже есть своя поэзия. Время рождения нашего героя мы обозначили, очередь – за местом. Место, если говорить о районе города, – нижняя часть Кишинёва, печально знаменитая по погрому 1903 года. Здесь сохранялись все признаки еврейского местечка, каковым и был Кишинёв долгие годы, когда Бессарабия вошла в состав России. Узкие извилистые улочки, кривые переулки, летом утопавшие в пыли, а в дождливое время – в грязи, сходились, пересекались, образуя запутанный клубок, в центре которого пролегла улица Азиатская, больше всех пострадавшая от беснующихся громил.

Как и другие окраины Кишинёва, район, где родился Исаак, звался махалой (в бессарабском наречии давало себя знать турецкое присутствие: на турецких языках «махалья» – это район). Это был пригород. Махала Ольшанского простиралась от Бендерской «рогатки» (заставы со шлагбаумом), от грязной бурой заболоченной речушки с гордым названием Бык – вверх до Кожухарской улочки. В городе кроме Бендерской были ещё Скулянская, Оргеевская и Хынчештская «рогатки». Четырьмя лучами расходились тракты от стольного града к провинциальным центрам. Самой оживлённой была Бендерская «рогатка», поскольку она была ближе остальных к центральному рынку (Новому базару) – чреву бессарабского Парижа.

Не улыбайтесь! Дома в центре и верхней части города, поднявшиеся во второй половине XIX и в начале XX столетия, и впрямь походили на



парижские. Эта часть строилась уже по генеральному плану. В верхнем городе были прямые улицы, проспекты, а на них – кафе, рестораны, отели. Проживали тут по преимуществу потомки молдавских бояр, русские, бежавшие из Петербурга, Москвы, Киева и Одессы от революции 1917 года, богатые евреи, армяне, немцы и греки. Садовая улица – сплошь одноэтажные особняки. А в остальной части здания были двух-трёхэтажные, почти каждое сегодня могло бы служить памятником архитектуры. И что удивляться, если многие были построены по проекту самого Бернардацци! А уж дамы из хорошего общества, прогуливая свои наряды в городском саду, были уверены, что не уступают парижанкам.

У Бендерской «рogatки» всю кипела торговая жизнь. В этом районе обитали мелкие торговцы, перекупщики. Здесь было много лавочек, где торговали съестным. Выделялась большая лавка, где продавался корм для скота: овёс, ячмень, лущёная кукуруза. Над входом висела вывеска с изображением лошадиной головы, наполовину погружённой в торбу с овсом, а рядом красовался большой пучок соломы, свёрнутый жгутом. Здесь находилось несколько «ханов» - заезжих дворов, где останавливались крестьяне, приехавшие на рынок с телегами, подводами. Транспорт оставался на базаре, с него велась торговля, а лошадей распрягали и уводили в «хан», где были и стойла, и ясли-кормушки. У Бендерской «рogatки» располагались две кузни.

Своеобразным водоразделом между верхней и нижней частью города была улица Николаевская (изначально – Каушанская, при Советах – Фрунзе, ныне - Колумна). Ниже Николаевской тянулась Харлампиевская улица (при Советах – Штефан чел Маре, ныне – Александру чел Бун), и, если взять левее, можно было через Болгарскую улицу выйти на Георгиевскую. Туда-то нам и надо. Здесь родился и обитал наш новый герой. Длинный одноэтажный дом № 32 по Георгиевской улице занимал полквартила, заворачивая на Петропавловскую. Именно на этой улице проживал владелец дома молдаванин Бивол, хозяин шинка, расположенного по соседству. Сам он обитал с семейством в небольшом домике на Петропавловской, а дом на Георгиевской сдавал квартирантам. Он был крыт черепицей, как большинство кишинёвских домов. Это был доходный дом. В верхнем городе они были куда масштабнее.

В доме, кроме Ольшанских, обитали еврей-плотник, армянин-парикмахер, богомаз-молдаванин, мелкий лавочник-еврей и еврей, работавший на табачной фабрике. Публика интернациональная, эдакий мини-Вавилон, со счётом 5:2 в пользу евреев. Самое большое жилое помещение занимал владелец конюшни балагула Бухбиндер с семейством, эдакий кишинёвский Фроим Грач, правда, не столь колоритный, как бабелевский. В глазах соседей он был настоящим богачом, у него было не менее восьми лошадей и телеги, и сани. Чтобы откупить от армии двух сыновей, он приобрёл каждому верхового коня, что стоило больших денег. По закону румынской армии сыновья должны были до полугода прослужить в кавалерии, после чего их освобождали от службы, а конь оставался на довольствии полка. *Calarasi cu scimb* (всадник с обменом). Закон есть закон! А в Кишинёве стоял кавалерийский полк ещё с царских времён. Дочь Бухбиндера училась в еврейском профессиональном училище.

Никто из соседей не мог себе позволить ничего подобного. Правда, две дочери богача Бербера, проживавшего в своём доме выше по улице, учились в гимназии, но в городе о них шла такая слава, что за глаза обеих называли нехорошим словом. Иностранцы, обучавшиеся в Москве на исходе



XX века, считают его неопределённым артиклем, припечатывают к месту и не к месту и произносят с особым шиком: «билять»!

Только три квартиры дома № 32 имели выход на улицу, к дверям вели две высокие каменные ступеньки, зато у всех имелся выход во двор, чаще всего он шёл прямо из кухни. Дом этот сохранился до наших дней, но перестроен, выходов на улицу уже нет, на фасаде остались лишь железные ворота с калиткой.

Двор был большой, помимо сараев, выгребной уборной, небольшой мастерской, голубятни, которая принадлежала соседу-армянину, в нём размещались большая конюшня и подводы, в которые возчики-балагулы впрягали бухбиндеровских битюгов. В ночную пору и при отсутствии работы оглобли телег торчали в небо, освобождая жизненное пространство для соседей. У большинства были собаки, кошки и домашняя птица, содержащаяся в сараях, там же хранились дрова, которые заготавливали с лета. Угля не знали. Острый запах лошадиного навоза перебивал все остальные. Только когда приезжал золотарь со своей бочкой и чистил выгребную яму уборной, все соседи плотно закрывали окна и двери из квартир во двор, поскольку вонь стояла невозможная.

Электричества в доме не было, пользовались керосиновыми лампами и свечами. Керосин покупали у развозчика, который жил в начале Азиатской, ездил с бочкой на повозке и литровой железной меркой с длинной ручкой, коорой отпускал свой товар покупателям. Использовал он и жестяную лейку, если тара была с узким горлышком. Фитили и стекла для ламп - трёх - семилинейные - покупались неподалеку в бакалейной лавке Когана.

Водопроводная колонка имела на Петропавловской. Свободного доступа к воде не было. Колонка находилась в небольшой будке, её обслуживал человек, который отпускал воду по цене пол-лея за ведро. Для мытья и стирки собирали в бочки и дождевую воду, и чистый снег топили.

Снег ложился в начале декабря и уже не таял, слой его нарастал, образуя толстый наст, который начинал подтаивать лишь в марте, и из-под него текли ручейки. Извозчики зимой пересаживались на сани, к дуге прикреплялись колокольчики, их залиvistое дзинь-дзинь-дзинь разносилось далеко. Сосед Бухбиндер тоже заменял телеги саними, летом они высились в углу двора пирамидой.

Сливной канализации в нижней части города тоже не было. И хотя Георгиевская улица была вымощена булыжником, во время ливней по ней нёсся бурный поток, и, чтобы пересечь её, нужно было снять обувь. Дождевая вода скатывалась в речушку Бык, отделявшую город от деревни Рышкань (нынешний микрорайон Рышкановка). Летом дети с явным удовольствием бегали по этому потоку, обдавая друг друга брызгами, даже перспектива домашней трёпки не могла их унять.

Мир маленького Ицика был поначалу замкнут стенами их квартиры и двором. Самые значительные впечатления – от соприкосновения с живностью. Больше всего его занимали лошади. Они были огромными, он издали внимательно наблюдал, как работник щёткой мыл их крутые бока, заглядывал в зубы, поднимал мохнатые ноги, осматривая подкованные копыта, расчёсывал хвосты и гривы. Кони мотали головами, фыркали. Мальчиком он слышал пугающие истории о том, что по ночам в конюшню забираются неведомые существа, которые заплетают лошадиные гривы в косички. Он рано привык к запаху навоза, лошадиного пота, к ржанию битюгов, но приближаться к ним боялся. Позже он увидит во дворе и случку



лошадей, и рождение жеребят. Но пока ему ближе, доступней дворовые собаки, их можно гладить, тискать. Наблюдая, как соседка доит козу, маленький Ицик решил подоить собаку. Дворовый пёс отреагировал мгновенно. Отметину на подбородке от его зубов Ольшанский хранит поныне, как и глубокий шрам от зубов чужой собаки, которая погналась за ним на улице и вцепилась в ногу. Может быть, от испуга с той поры он и стал заикаться.

Время от времени на улице появлялась повозка - собачья будка: гицели вели отлов бродячих собак. Заслышав лай, дворовые псы бросались к воротам. Стоило им оказаться за пределами двора, они становились добычей гицелей и пополняли ряды пленников большого воющего ящика с дверцей наверху. Если хозяева замечали исчезновение собаки, они кидались на улицу, бежали следом за отъехавшей будкой и выкупали своего питомца. Но в случае их отсутствия пса ждала печальная участь: на мыло!

В сарайчиках, тянувшихся вдоль стены, квохтала, кукарекала, кудахтала, кричала домашняя птица. Было время, когда Ольшанские купили гусят. В известной песне говорится: «Были у бабуся два весёлых гуся», а у Ольшанских их оказалось целых три. Обычно гусей откармливали к Рождеству или Пасхе, но хозяева к своей тройке привыкли и резать не поднималась рука. Гуси стали ручными. Когда мать отправлялась за покупками, провожали её до ворот, а потом встречали, приветствуя дружным гоготом. Когда начинался сезон бахчевых, маленький Ицик нарезал кубиками арбузные и дынные корки и скармливал прожорливым птицам. Мать кормила их кукурузой, очистками. Так прожили они года два, ночуя в сарайчике, а днём разгуливая по двору, пока их не украли. Отец просыпался раньше всех, чуть ли не в пять утра, выходил по нужде, закуривал неизменную сигарку и выпускал птиц на волю. Тут кто-то и воспользовался моментом, двор был ещё пуст. Днём украсть было невозможно, поскольку кто-нибудь из жильцов или конюхов да вертелся во дворе.

Да и вообще двери квартир в ту пору оставляли незапертыми. Под кухней Бухбиндера, в правом углу двора, находился большой погреб, в котором у каждого соседа был свой отгороженный отсек, где хранили продукты. Мама Ицика помещала туда летом даже кастрюлю с борщом, ведь холодильников не было. Отсеки эти не имели запоров, заходи – бери, но никто никогда ничего у соседа не брал. Таковы были нравы той поры.

В тёплое время года двор был естественным продолжением квартиры. Во дворе на верёвках развешивали бельё, подпирая отяжелевшие верёвки палками. В конце августа во дворах варили сливовое повидло, и его неповторимый дух неделями витал над нижним городом. Огонь разводился между брусками котельца, на которые водружался большущий медный казан с плоским дном, куда засыпали по пуду накануне очищенных от косточек слив. В ход шёл особый сорт – венгерка, у которого косточка легко отделялась. Повидло уваривалось долго, покрывалось пузырями, булькало, брызгало. Варка повидла – процесс длительный. По прошествии двух часов его надлежало почти непрерывно до сумерек мешать длиннющей деревянной лопаткой, напоминающей весло, чтобы не пригорело. Ицик, когда подрос, тоже принимал в этом участие. Он был хранителем огня. Готовое повидло хранили в керамических горшках - макитрах или глечиках. Лучшего лакомства чем ломоть хлеба с маслом и сливовым повидлом Ицик не знал.



Среди соседей, как было сказано, был доморощенный художник, писавший иконы. Когда Бухбиндер, получив заказ на перевозку товара (грузовой транспорт в ту пору был гужевой, он был востребованный, ведь грузовых машин ещё не было), отправлял обоз в путь-дорогу иногда на целую неделю; во дворе без телег и лошадей становилось просторнее, тогда наступал час художника. По весне он выставлял на свет божий загодя написанные иконы, и начиналась работа. Оклады из жести он в зимнее время вырезал в мастерской по лекалам и методом чеканки штамповал по периметру нехитрый растительный орнамент – цветы, ягоды, веточки, листочки. Затем закреплял оклады на уже просохших досках одного формата, где были тщательно прописаны Богоматерь с младенцем или Иисус благословляющий – это были излюбленные сюжеты; он набил на них руку.

В сельской Молдавии оклады было принято расписывать. И вот сейчас во дворе начиналась раскраска окладов поточным методом: переходя от одной иконы к другой (а их было не менее 20-ти), их создатель раскрашивал аленький цветочек в четырёх углах каждого из окладов, затем, обмакнув другую кисточку в голубую краску, он двигался вдоль шеренги икон и красил ягоды голубики, разбросанные тут и там, затем таким же путём появлялись золотистые ягоды облепихи, красные – земляники, зелёные листочки и веточки.

Маленького Ицика процесс этот интересовал. Вслед за богомазом он перебегал от иконы к иконе, присматриваясь к тому, как расцветает оклад. Однажды мастер доверил Ицику поработать зелёной краской. Мальчонка отнёсся к поручению ответственно, старался набирать на кисточку за раз немного краски, чтоб не потекла, был осторожен, чтобы не вылезти за пределы. Когда справился, расцвёл от похвалы. Шутка сказать - первое приобщение к искусству! Это вам не забор красить, как выпало дружкам Тома Сойера у Марка Твена. Когда краска просыхала, мастер-самоучка уносил иконы в дом. В положенный день приезжала повозка, в неё погружались иконы, возчик понукал лошадёнку, повозка со скрипом двигалась в сторону базара. Товар этот в базарные дни пользовался спросом у приезжих сельчан.

Во дворе имелась голубятня, и малыш с интересом наблюдал за действиями её хозяина-армянина. Ему нравилось следить, как он поднимает птиц в полёт, как голуби взмывают в небо, как стая выписывает круги, поднимаясь всё выше и выше, вот их уже не видно, точно растворились в голубизне неба. Он стал различать голубей по окраске, у некоторых перья росли даже на лапках, ему нравились белые мохноногие, но хозяин дорожил другими, он называл их турманами. У них был небольшой крепкий клювик, большие глаза, на голове маленькая коронка от уха до уха, шея с красивым изгибом, гордая осанка, цветом сизые, а ножки красные, карминные. Это были пилоты высшего класса: они в небе кувыркались и через голову, и через крыло, выписывали мёртвые петли. Однажды один турман пропал, но через некоторое время вернулся с голубкой, увёл чужую «в осядку». Такое случалось не раз, Поскольку голубятники друг друга знали, пропажа находилась, пострадавший голубятник приходил к армянину, и начинался торг. Чаще всего он выкупал своего голубя или давал другого взамен. Таковы были неписанные законы.

Мальчика удивляло то, что голуби, обретя свободу, не улетают, а возвращаются спустя некое время. Поднятые в обед, они оставались в небе до позднего вечера. И как они находят дорогу домой? Этот вопрос его



очень занимал. Голубятник объяснял, что голубь не так умён, как некоторые другие животные, не так чувствителен как лошадь, он не привязан к хозяину как собака, но он любит свой дом. Что влечёт голубя обратно в голубятню? Тоска по дому, тоска по кормушке или тоска по семье?

Вопросы эти время от времени возвращались, но судьба развела малыша с голубями. В том возрасте, когда становятся голубятниками, он покинет свой двор, улицу и родной город. Сейчас он этого ещё не знает. О настоящих голубятниках, занятых выведением почтовых голубей, – Малыше и Девочке – он прочтёт на склоне лет в романе израильского писателя Меира Шалева «Голубь и мальчик».

Грета состоит в переписке с переводчиками Шалева – Рафаилом Нудельманом и Аллой Фурман. Время от времени Раф присылает из Иерусалима очередной томик Шалева, изданный в Москве. Грета считает Шалева великим мифотворцем, предпочитает его леваку Озу, которого даже выдвигали на Нобелевскую премию, восторгается его языком и неповторимой образностью. Как филолог-профи она привержена мифу: «Если имеется в природе что-то вечное, неизменное, это мифология», и считает, что XX век сплошь мифологизирован, Ольшанский с ней не спорит, ей видней...

Попытку мифологизации кишинёвского двора предпринял Александр Гольдман. Его многообещающая книга «Проклятый город Кишинёв» осталась незавершённой из-за безвременной смерти автора (фрагменты изданы в 1981 году ещё при его жизни в израильском журнале «22», главным редактором которого в ту пору был Раф Нудельман, потом его возглавит А.Воронель). Но Гольдман, родившийся в 1943 году, описывает кишинёвские дворы конца 50-60-х годов, и хотя южные традиции живучи, это были уже иные дворы, отличные от того, где при румынах проживал маленький Ольшанский: хозяев и работников не было, частную собственность ликвидировали как, впрочем, и самих собственников, нравы переменились. Правда, некоторые детали быта сохранились, но поведение людей стало иным, в Бессарабии сформировался новый субэтнос – русские евреи потеснили румынских, появился «здоровый коллективизм».

Светлана Крючкова, прекрасная актриса, родившаяся в Кишинёве в 1950 году, тоже вспоминает свой послевоенный двор как нечто уникальное, где русские, украинцы и евреи жили как одна семья: «Время было другое. Люди были добрые. Хорошо помнили горе». Она тоже появилась на свет в одноэтажном доме, где проживало 11 семей, 8 из которых были еврейскими. Дом был без удобств, с печным отоплением, а туалет – во дворе, как у Ольшанских. И точно так же не принято было запира́ть двери квартир. Правда, дом Крючковых располагался в центре. Мимо шла дорога на Армянское кладбище, дворовые дети пристраивались к оркестру и провожали покойника.

Двор Алика Гольдмана находился, видимо, неподалеку, потому что окна его класса выходили на Армянское кладбище, и учеников возбуждали рыдающие звуки похоронных маршей. Невыносимо было оставаться в классе, когда за стенами разыгрывалось настоящее действие. Учитель должен был проявить настоящий артистизм, чтобы удержать мальчишек за партами. При румынах обитателей нижнего города крайне редко хоронили с оркестром. Так что Ольшанские траурными маршами не были избалованы.

«Семейственность» послевоенных дворов подчёркивает и Гольдман. Куда бросаются обезумевшие женщины с Екатериновской улицы в случае домашних неурядиц? «Наши женщины бросаются во двор, а двор,



Верховный судья, принимает решения и отдаёт распоряжения». Двор знает всё, не остаётся в стороне ни от чего, до всего ему есть дело. А до войны в Бессарабии не принято было выносить сор из избы, семейные тайны если и становились предметом пересудов, то не из-за болтливости домашних, а опять-таки согласно поговорке: шила в мешке не утаишь. Соседи, конечно, знали всё, но никто из них не вмешивался и не лез с советами.

Когда персонаж Гольдмана, муж коренной обитательницы двора, парень добрый, но без царя в голове и «с большой слабостью к слабому полу», воспользовался отсутствием жены, чтобы оную слабость удовлетворить, восстал двор. Поутру в дверь постучали. «Полуголый наш герой открыл дверь – и обомлел. Двор был в полном составе и молчал, как войска на Куликовом поле перед началом сражения. Сомкнув ряды, стояли прачка тётя Женя, татарин-садовник Володя и жена его, пьяница-немка, необъятная мадам Водовоз, суперинтриганка Суламифь, преподаватель научного коммунизма доцент-пропойца Усатый и другие официальные лица... Потом строй распался, и вперёд, как для кулачного боя, выступила Пилина. - Витя! – сказала она, - ой, Витя, я вам закрою этот баритон... И тут двор грохнул». Двор оценил хорошее слово: синтез бардака и притона. В румынские времена подобную дворовую сцену невозможно было бы представить. Без сомнения, автор копировал бабелевскую Молдаванку.

В культовом фильме «Ликвидация» Крючкова блистательно сыграла бывалую обитательницу одесского двора тётю Песю Шмулис (а до этого - Хаву Цудечкис в фильме «Искусство жить в Одессе») и призналась, что опыт детства и отрочества, проведённых в кишинёвском дворе, позволил ей без труда войти в эти роли и свободно изъясняться особым «одесским языком». Только здесь, считает она, любой ребёнок – «любонька», «рыбочка», «ласточка», «солнышко». Только на юге так говорят. Да, так говорят в Одессе, а в Кишинёве скажут: - Ах ты моя золотая!

Кишинёвский язык не идентичен одесскому, здесь не услышишь «тудую-сюдою», «вус трапылось?» (что случилось?), тут свои оттенки. Да, здесь говорили после войны: «ихде ви купляли этих смушек?», «ихде ви сохнете вашего белья?» (особая склонность к родительному падежу) или «я видел его ходить на базар» (калька с идиш), но одесский язык, тоже во многом суржик (языковая смесь), много богаче и колоритней. Я имею в виду не бабелевский стилизованный язык, а тот, что звучал на Привозе: «Дяденька, почём просите за свои яйца? – Вам так, чтобы взять?»; «Почём ваши глоси? – Это глоси?! Замолчите свой рот, а то я устрою камбалом по морде!», «Что вы мацаете мои синенькие? А ну лож на место! Ходи до дому, та мацай свою жинку!» А от родичей отца-одессита я не раз слышала выражения: «Оно тебе надо? Я уже от тебя беременная на всю голову!», «Подумаешь, профессор кислых щей и мокрой ваксы! Да что он понимает в колбасных обрезках?!», «Это он в Москве а гройсе хухем, а в Одессе он елеле поц». Продолжать можно до бесконечности.

Конечно, Гольдман создал настоящую апологию двора: «Двор, вершитель правосудия, греческий хор. Ах, Двор, боюсь тему трогать, и коснуться даже боюсь, задыхаюсь от сладкого липового запаха, вижу, вижу, вижу... материя неисчерпаемая. Двор, великий комментатор, толкователь, дипломат, отборочная комиссия. Ты выбираешь для скандала лучших людей, подбадриваешь их, выталкиваешь, воспитываешь. ... Это памплонская коррида. Не купцы Калашниковы – матадоры мы. Матадоры и быки. Какой-никакой – всё-таки Запад. И солнце. И как у боя быков есть



своя веками установленная традиция, как неизбежно сменяет пикадора бандерильер - и не наоборот, так и в страстных наших заварухах каждый участник твёрдо знает своё место, свой выход. Всё должно быть точно – иначе какое же удовольствие? Есть свои примадонны, есть характерные актёры, есть «на выходах», есть миманс – у каждого своё амплуа. Двор строг и взыскателен, но ежели кого полюбит – навсегда. Видели тысячу раз. Знаем наизусть – излюбленные приёмы, отточенные выпады. И – как на корриде – риск. Иногда – инфаркт».

Двор у Гольдмана выплескивается за свои пределы и разрастается до масштабов города, или, если угодно, город уподобляется двору, во всяком случае он – живое существо: «город смотрел на тебя строгими глазами», «город откармливал своих», «Кишинёв молчал», «и не выдержал город»... Конечно, это город советского «уравнительного» времени, но ещё двадцать лет назад при румынах здесь всё было иначе: верхний город жил по иным законам, и вообразить, чтобы двор в верхнем Кишинёве оказался такой «сборной солянкой», как двор Светланы Крючковой, просто невозможно. Это были частные дворики, принадлежавшие владельцам особняков. Теперь же особняки превратились в коммуналки. Но мы вернёмся вспять на несколько десятилетий и спустимся в нижний город.

Быт и традиции еврейской семьи нижнего города

Семья Ольшанских из пяти человек проживала на Георгиевской в съёмных двух комнатах. Пол был земляной, и только к концу 30-х годов настелили доски. Зимой жильё обогревалось грубой (так называли голландскую печь), она отапливала сразу две комнаты. В богатых домах грубы делались из обожжённых кирпичей-изразцов, фаянсовых, напоминающих нынешний кафель. У Ольшанских это была белёная стена, к ней можно было прижаться и греться. Она редко бывала горячей: экономили дрова. Была у них и кухня с большой плитой, на которой варили пищу, грели воду и утюги. Купались в той же кухне в деревянной, а позже в оцинкованной лохани, обычно по четвергам или пятницам с утра, потому что вечером уже «заходила» суббота, главный день для евреев. В субботу по утрам отец ходил в синагогу. Младший сын, иногда его сопровождавший, не помнит, чтобы отец читал молитвенник-сидур, но молитвы все знал наизусть. Видимо, человек был способный.

Участник первой мировой войны (моя бабушка, родившаяся в XIX веке, называла её империалистической), еврей Мотл Ольшанский, дослужился до унтер-офицера. Сохранились фотографии, где он выглядит очень браво: в форме, сапогах, погоны с лычками, фуражка с кокардой, сабля в ножнах на боку. Росту он был среднего, коренастый, широкоплечий, крепкого телосложения, круглолицый сероглазый, светловолосый, с пшеничными усиками под коротким носом. Он походил скорее на русского, чем на еврея. Демобилизовавшись в 1918 году, он женился на бесприданнице Ханне Райгородецкой, которую на русский манер звал Анютой. Письма с фронта, которые прочесть она не могла, он писал ей на русском языке. Грамоте выучился в армии. До службы он освоил сапожное ремесло, учился у своего отца. Так было заведено во многих еврейских семьях: сын сапожника становился сапожником, сын часовщика – часовщиком. Вернувшись к мирной жизни, стал Мотл сапожничать. Мастером был неплохим, и поначалу клиентура была.

Первой в молодой семье в 1919 году родилась Рахиль, через 3 года – мальчик Шика. Третьей появилась Лея, но умерла в возрасте трёх лет от скарлатины. Детская больница доктора Вольгемута на углу улиц Инзова



(ныне - Сергея Лазо) и Подольской (при Советах – Искры, ныне – Букурешть), куда её поместили, сохранилась и функционировала до конца 90-х годов, но сильно обветшала. Недавно это известно как Дом Мими красивое двухэтажное здание барочного типа с эркером, украшенное лепниной, отреставрировали. Кому оно ныне принадлежит, неясно, во всяком случае - не больнице.

Исаак был последышем. Большой близости между сестрой и братом у него в детстве не возникло из-за основательной разницы в возрасте. Ему исполнился год, когда десятилетняя сестра начала работать ученицей у модистки, а брат пошёл в школу. Потому раннее детство он провёл в женской компании. За углом на Петропавловской улице жила бабушка, мать мамы Ицика, которую соседи звали Гитл ди шварце (чёрная). Вместе с ней проживали две дочери – старшая Рейзл и младшая Гися.

Бабушка была родом из городка Проскуров, о котором вспоминала не без ностальгии. Она рано овдовела, на руках – шестеро детей, рождённых уже в Кишинёве. Тех, кто постарше, она пристроила к родственникам, где они не даром ели свой хлеб. Ханна, средняя дочь, несколько лет жила в соседнем местечке, пасла гусей, нянчила детей, помогала по дому, затем девушкой года два провела в Одессе в услужении у родни, проживавшей в Треугольном переулке по соседству с Вайсбейнами, родителями Лёдика Утёсова. Одновременно она работала на табачной фабрике. Вернувшись в Кишинёв, она вместе со старшей сестрой Рейзл открыли маленькую прачечную, где вся работа легла на неё. После замужества из-за беременности прачечную пришлось закрыть.

Мама была в постоянном движении. В маленькой квартирке, где одна комнатка служила спальней и сапожной мастерской одновременно, а другая – столовой и спальней для детей, наводила она сверкающую чистоту, особенно накануне субботы. Она таскала воду от колонки, топила печку, подметала, мыла посуду, чистила и скребла казанки, тазы, кастрюли, тёрла до блеска оконные стёкла. Работы по дому было невпроворот: сбегать в лавочку за любой мелочью (запасов ведь не было) или на базар, где можно было купить подешевле (зато в лавочке у Когана давали в долг), почистить принесённые овощи, замесить и раскатать тесто, сварить обед, подать мужу и детям.

Лучшие куски доставались отцу, но он выглядел угрюмым и недовольным, а на лице у матери как бы застыл вечный иснуг. Обед проходил в молчании. А стирка, глаженьё, штопка, заплатки, иногда перелицовка... Всего не перечесать. К тому же она ходила «убираться» к богатым соседям: какой-никакой а приработок! Потому Ицик не помнит, чтобы мама с ним играла, брала его на руки и тем более целовала. Его мать росла сиротой, в людях, сама не знала ласки, а природа не наделила её волшебным чувством прикосновения. Имя её – Ханна в переводе с древнегреческого означает «сострадание», «милосердие». Вряд ли она знала его значение, но свойства эти составляли суть её природы, что сын понял, наблюдая мать в старости.

В жизни Ицика заметную роль играла бабушка. Она была женщиной с характером. Своего младшего сына Йонтла, женившегося вопреки её воле на женщине недостойного поведения и к тому же вопреки обычаю, не выдав замуж младшую сестру Гисю, которая так и осталась в девицах, она согнала с глаз долой и не общалась даже с его детьми. Зато привечала и помогала детям старшего сына Шики, осиротевшим после его безвременной



смерти. Он умер, как тогда говорили, от порока сердца. Его имя, как это принято у евреев, получил старший брат Исаака.

Она защищала малыша от вечных и незаслуженных колотушек. Облик этой подвижной старой женщины с чеканным профилем, походившей на армянку, мальчик хорошо запомнил. Она носила несколько тёмных длинных широких юбок одну поверх другой. Где-то в бесчисленных их сборках таился её кисет (она нюхала табак). Поверх юбок неизменно надевался чистый передник в складках (фартук). Волосы были убраны под платок. Он и маму свою без платка не видел: по правилам Талмуда (устной Торы) замужние еврейки не должны были ходить простоволосыми. Простонародье носило платки. В ортодоксальных семьях замужние женщины брили голову и ходили в париках. Свободомыслящие дамы из верхней части города демонстрировали замысловатые причёски.

Ицик узнал бабушку в ту пору, когда её уже реже приглашали готовить свадьбы или иные застолья в еврейские дома. Она была умелая повариха, и в городе её знали. Знали её и на рынке, особенно в мясных и рыбных рядах, ведь без фаршированной рыбы представить себе стол было невозможно. Если замуж выдавали бедную девушку, бабушка отправлялась на рынок к концу дня, когда цены снижались, ибо рыба засыпала. Она нещадно торговалась и покупала задёшево. Поскольку покупала она много, не меньше пуда, продавцы дорожили выгодной покупательницей, уступали, иногда даже отдавали уже неходовой товар бесплатно.

Покупка кур была настоящим ритуалом. Дешевле было купить живую птицу, да и вкуснее она была в бульоне. На базар их привозили в больших клетках. Хозяин связывал жертве ноги. Покупательница брала курицу или петуха (для холодца годились только матёрые петухи со шпорами), поворачивала вниз головой, невзирая на хлопанье крыльев и отчаянное кудахтанье, дула в перья у задницы, чтобы убедиться, нагуляла ли птица достаточно жира. Синюшные отбраковывались. Если покупала еврейка, куру тут же несли к шойхету-резнику, чтобы она покинула этот мир по всем правилам кашрута. Затем они попадали в руки женщин, которые миглом ошипывали тушку. Эти услуги были платными. Но для больших застолий бабушка покупала битую птицу, брала дюжину-другую, причём на каждой тушке стояло клеймо кошерности. В городе существовала, как бы теперь выразились, развитая инфраструктура по обслуживанию еврейского населения. Но вернёмся к заботам бабушки, поварихи по вызову.

На приобретение необходимых продуктов уходил день-другой. А затем с утра пораньше к дому подъезжала пролётка (в Бессарабии их называли фаэтонами), и бабушка загружала в неё посуду: начищенные противни, сковороды, жаровни, сотейники. Всё это готовилось с вечера, было увязано в большие платки. Погрузив орудия производства, она усаживалась сама, и кучер трогал. Иногда она отсутствовала по два-три дня. Конечно, на кухне у неё были помощницы, ведь угощение готовилось подчас на полсотню, а то и на сотню гостей.

Внук с нетерпением ждал её возвращения: она обязательно привозила и угощала его лакомыми кусочками. Всё было необыкновенно вкусно. Но особенно он ждал кусочка штруделя, который в Бессарабии именовали баглавой. Это печенье из слоёного теста, в котором тончайшие листы теста смазывались маслом и мёдом, пересыпались рубленными грецкими орехами, корицей и сдабривались лимоном. Испечённые, они нарезались на ромбики и подавались к чаю. Дома таких вкусностей не бывало.



Семья жила скудно. Бывало, крошили лук в блюде с постным маслом и ели с чёрным хлебом. Иногда обедали картошкой с селёдкой, причём нередко покупалась у Когана лишь её половинка. Головка особенно ценилась, её можно было обсасывать бесконечно. Мамалыга часто бывала на столе, хорошо если с овечьей брынзой, реже - со шкварками, чаще - с жареным луком. Ицика частенько посылали в бакалейку без денег, попросить, чтобы Коган дал в долг. Надеялись, что пожалеет малыша. Но он уже соображал, что это стыдно, и отказывался идти «мит онэ гельд» (с без денег).

В эту пору в Кишинёве на Харлампиевской и Ильинском базаре существовали благотворительные столовые для бедняков, плата была чисто символическая. Они так и назывались - «Дешёвая кухня». Там можно было пообедать, но давали пищу и на дом в алюминиевых судках. Часто можно было увидеть на улице нижнего города женщин, а то и подростков с такой оригинальной конструкцией из трёх алюминиевых судков, в которых находилось первое, второе и третье. Семья Ольшанских стыдилась идти в эту столовую, у бедняков тоже случалась гордость, но страшнее было уронить себя в глазах окружающих: «Что скажут люди?!» Пересудов соседней очень остерегались.

Однако случались в доме и хорошие, сытные дни. Настоящий праздник наступал, когда тётя Гися, работавшая на мыловаренном заводе и пользовавшаяся уважением хозяина, бесплатно приносила с производства субпродукты – желудок, кишечник крупного рогатого скота - кишкис, реже - вымя. Свинина в доме не водилась. Мама часами чистила, скоблила и отмывала эти сокровища. Любопытный мальчонка крутился рядом и внимательно наблюдал. Затем часами готовилось вкусное варево из потрохов, картошки, фасоли, моркови, домашней лапши. Мама начиняла кишки мукой с мелко нарезанным луком и жиром, чтобы приготовленное блюдо было сытнее. Оно булькало в большой кастрюле, квартира наполнялась соблазнительным запахом, из травок добавлялся не только всем известный укроп и лавровый лист, но и местная трава леуштян. Всё сдабривалось солью и перцем. Слюнки текли в прямом смысле, но при этом у малыша при простуде часто текло и из носа. В таком случае мама давала ему понюхать жжёное перо или керосин, считалось, что это верное средство от насморка.

Наблюдая во дворе соседских детей, Ицик мучился вопросом, почему люди не рождаются с ноздрями вверх, ведь так было бы куда удобнее. Законный вопрос был следствием наблюдений за сопливыми сверстниками и одновременно свидетельствовал о зуде рационализаторства, который проявился уже в нежном возрасте. Подумать только, малец пожелал усовершенствовать творение самого Господа-Бога. Но задать вопрос было некому: взрослым было не до него.

На праздники – Рош-ха-Шана (еврейский Новый год в Бессарабии называли *Рошошунэ*), Хануку, Пурим и Песах – семейство отъедалось. На *Рошошунэ* трапезу начинали яблоками с мёдом, чтобы год был сладкий. Круглая белая плетённая хала символизировала круговорот года. Как закуску подавали рубленную печёнку или форшмак (рубленную селёдку). Обязательно фаршировали рыбу - карпа со щукой, голова доставалась старшему, обычно – отцу, чтобы он был головой всему. Всегда делали кугель из бурячков (в Бессарабии слово «свекла» было не в ходу), блюда из фасоли, разные цимесы. На Хануку требовалось много масла: жарили пончики, жарили латкес – картофельные оладьи, пекли творожную



запеканку. На Пурим пекли ументашен – треугольное печенье с маком или сливовым джемом и орехами. Напекали его очень много, т.к. положено было посылать угощение (*шолохмунес*), а то и подарки родственникам, друзьям и ребе (у Ольшанских был свой ребе). Ицик любил относить свёртки со сладкой выпечкой родственникам, там его обязательно угощали, а иногда давали и денежку. На Песах ели мацу в самых разных видах, при этом уходило много яиц, картофеля, готовился куриный бульон – «а голдене юх» с манделак (шарики из теста, зажаренные в масле), жарились куры или молодой барашек и опять же – фаршированная рыба.

В их семье всегда отмечали субботу (*шаббат*, в Бессарабии – *шобес*). В пятницу вечером мать зажигала две свечи в красивых подсвечниках, произносила при этом молитву. В субботу нельзя было выполнять любую работу, зажигать огонь. Для этой цели даже в их бедной семье существовал *шобес-гой* - жившая по соседству христианка тётя Вера. В субботу она обслуживала все еврейские семьи двора. Отец, заядлый курильщик, не выпускавший самокрутку из пожелтевших от курева пальцев, в субботу не курил.

Когда Ицик подрос и у него появились школьные друзья, ему стало перепадать и во время христианских праздников. Среди его друзей школьных лет даже преобладали православные. Но об этом позже.

Мир за пределами двора

До трёх лет Ицик наблюдал уличную жизнь из окна или со ступенек их «парадного» входа - в зависимости от погоды. Самостоятельно гулять по улице ещё не разрешалось. Сидел он обычно в одиночестве, редко с бабушкой, маме присесть было недосуг. Но одиночество его не тяготило: ему нравилось наблюдать.

Жизнь за пределами дома особенно в тёплую пору начиналась уже в пять утра. Крестьянские подводы двигались по Георгиевской вверх в сторону базара безостановочно. Цоканье подков по булыжникам, скрип и погромыхивание телег, понукания возчиков сливались в ровный гул, он был привычен и не нарушал утреннего детского сна. Бывало, бессарабские крестьяне добирались из ближних сёл пешим ходом. Шли они босые. Минуя «рогатку», они выходили на первую мощённую улицу – Вознесенскую и вскоре сворачивали на Георгиевскую. Присев на ступеньки у двери Ольшанских, ведущей в комнату, где стоял платяной шкаф и спали дети, они одевали кто сапоги, кто - плетёные постолы (лапти), приобщаясь к городской цивилизации. Дальше идти босиком считалось неприличным.

Первой во двор приходила молочница. Она шла в город из Колоницы, приходили молочницы и из других сёл - Будешты, Малоешты. Путь был не близкий. Женщина несла свои бидоны на коромысле. Она заходила в кухню (двери не запирались на ночь), наливала 2 литра молока в бидон, приготовленный с вечера на столе, и удалялась. Расчёт происходил раз в неделю. Никогда никакого обмана. К Ольшанским молочница продолжала приходить и в 50-е годы.

Вскоре после рассвета улица оглашалась криком: «Бублики! Свежие бублики!» Кричал мужчина, у которого впереди, упираясь в живот, висела большая круглая плетённая корзина, полная пахучих блестящих бубликов. Руки его были свободны. Многие покупали его товар к завтраку, но у Ольшанских бублики редко появлялись на столе, для Ицика это было лакомство.

Затем наступало время зеленчиков. Они приносили свой товар – в основном овощи: картошку, лук, чеснок, капусту, редьку, гогошары,



огурцы, помидоры, пучки петрушки, укропа, леуштына – в плетённых прямоугольных корзинах на коромысле.

Время от времени раздавался крик: «Стёкла вставляю! Стёкла вставляю!» Это был мужичонка с плоским деревянным ящиком. Если появлялась потребность, он снимал с плеча тяжёлую ношу, вынимал из ящика стекло, тут же стеклорезом отрезал лишнее и ловко вставлял недостающую часть стекла в раму. Редко кто заменял целое стекло, беднота практиковала кусочки.

«Ножи точу! Точу ножницы!» - эти возгласы заставляли Ицика срываться с места. Даже если их семья не нуждалась в услугах точильщика, он бежал посмотреть, как работает старик. Сняв с плеча станок, он приводил ногой в движение точильный камень. Вращение набирало скорость. От соприкосновения ножа с поверхностью камня летел сноп искр. Вот этого мгновенья и ждали мальчишки, обступившие точильщика. Шутка сказать – бесплатное зрелище! Почти фейерверк! Закончив работу, точильщик шёл дальше, некоторое время мальчишки сопровождали его.

Желанным для ребятни было и появление старьёвщиков. Обычно они появлялись с мешком за спиной, но был один, который приезжал на телеге. Ему можно было отдать кое-что из сломанной мебели: табуретку, тумбочку, продавленную тахту, колченогий стул. А вообще-то несли всякий хлам: обноски, старые пальто, сношенную обувь, совсем уж прохудившиеся кастрюли. За это можно было получить красного, жёлтого или зелёного петушка на палочке (конфету-леденец), его можно было долго лизать и обсасывать, девочкам перепалили дешёвые колечки с камушками-стёклышками и другие «сокровища».

Двумя кварталами выше на улице находилась Георгиевская церковь. Ей было более ста лет, она помнила Пушкина. Привычный колокольный звон сзывал прихожан к заутрене, обедне, вечерне. Небольшая стройная церковь стояла за кованной оградой на возвышении, Её изящная колокольня, увенчанная высоким конусообразным шпилем с крестом, чётко выделялась на фоне неба. С этой церковью тесно связаны детские годы нашего героя.

Он вспоминал переключку колоколов. Сначала звонко тенькнула колокольня церкви Благовещения, что на Пушкинской горке, тотчас отозвались баритоны Мазаракиевской – Рождества Богородицы. Подхватила благовест деревенская Рышкановская, названная в честь святых царей Константина и Елены, затем вступала Георгиевская, голос которой Ицик сразу узнавал, и позже всех и важнее подключалась болгарская церковь Вознесения. Скоро колокольный звон плыл над всем нижним городом. По утрам, когда колокола начинали свою медноголосую переключку над хитросплетением узких улочек, семья уже давно была на ногах.

Если взять от Георгиевской церкви правее, можно было выйти на Кожухарскую (ныне произносят по-молдавски - Кожокарилор). Там раскинулись два больших постоянных или заезжих двора - «хана», один из них принадлежал Толцису. Это была известная в Кишинёве фамилия, целый клан: один из них держал шинок на Георгиевской, другой был врачом. Между Кожухарской и Георгиевской находился небольшой Общий переулочек (сейчас его уже нет), там располагалась домашняя пекарня Шмуклера, куда Ицика частенько посылали за хлебом. Относительно недалеко находилась пекарня Шабельмана. Тот выпекал много разных хлебо-булочных изделий, которые в специально оборудованных будках на телегах тут же развозились по бакалейным лавкам и магазинчикам. Запах свежеспеченного хлеба витал над кварталом. А Шмуклер довольствовался



малым, пёк только для своих клиентов, проживавших неподалёку, но хлеб у него получался вкуснее и был подешевле. К тому же на Пурим он одаривал детей своих постоянных покупателей небольшими плетёнными калачиками.

Обычно Ицик покупал или брал в долг, смотря по семейным обстоятельствам, круглый хлеб, поперёк которого шла круглая полоска, напоминающая хрустящий бублик. Однажды он не устоял перед соблазном и начал отщипывать от бублика, и пока дошёл до дома, не заметил, как весь съел. Дома отец спросил, а где же бублик? Ицик, потупившись, промямлил, что ему дали такой хлеб. Отец велел пойти к Шмуклеру и поменять хлеб. Тогда малыш ударился в рёв и признался, что бублик съел. В тот раз его не побили, но урок был усвоен: врать нельзя.

Хлеб продавался и в бакалейной лавке Когана, но Ольшанские заходили туда при крайней надобности. В ней можно было купить всё. Товары были аккуратно расставлены на полках, уходящих вглубь магазина. Лавка была узкой, но длинной. Хозяева жили при ней, в их квартире было два входа: со двора и из самой лавки. Семья Когана была многодетной, но их дети никогда не путались под ногами у покупателей. В лавке было чисто, заплесневелых товаров не водилось. В ней всегда находился хозяин или его старший сын. У входной двери был прикреплен колокольчик, войти и выйти незамеченным было невозможно.

Ицика посылали к Когану за селёдкой. Бочка с селёдкой стояла недалеко от двери. Однажды он стал свидетелем, как бедно одетый молдаванин в потёртой кучме уронил в бочку с селёдкой купленную им половину буханки чёрного хлеба. Хозяин накричал на него, насадил хлеб на вилку, которой доставал селёдку, отдал растяпе и выставил из лавки. Выйдя из лавки, Ицик увидел его, с жадностью поедающего хлеб. Он подмигнул мальчонке, и Ицик понял, что мужичок вовсе не растяпа, а «уронил» свой хлеб умышленно, чтобы он пропитался рассолом. «Пальцы молдаван», которые вспомнил Кнут в своём знаменитом стихотворении, оставались по-прежнему расторопны.

Ицику было пять с половиной лет, когда его приняли в детский сад при Георгиевской церкви. Заведение это было благотворительным. Взглянув на ребёнка, настоятель велел остричь его льняные кудри, длинные как у девочки. Стричься он не давался, но молодая соседка, к которой он питал слабость, сумела его уговорить и постригла, превратив в мальчика. Так что в детский сад он пошёл впервые остриженным. С утра и до двух часов мальчик находился там под присмотром и был совершенно счастлив. Группа состояла из 15-20 детей разного пола и разных конфессий. Язык общения – румынский. Дома у Ицика говорили на идиш и по-русски, но с детских лет он понимал и говорил и по-румынски. Родители румынского не знали. Воспитательница в садике проводила с ребятами различные занятия. Много времени уделялось разучиванию стихов, танцев и песен. С той поры и на всю жизнь он запомнил мелодию рождественской песни немцев о ёлочке - *O, Tannenbaum! O, Tannenbaum!* Дети пели её по-румынски. Были уроки рисования и лепки. Иногда воспитательница читала им сказки, а потом просила пересказать.

Ицик сам приходил в детский садик, его никто не сопровождал. С собой он приносил расписную жестяную коробочку, в которой хранился его завтрак – иногда это был хлеб с кусочком брынзы, иногда кусок хлеба с яйцом, сваренным вкрутую. У коробочки была ручка и откидная дверца. У каждого ребёнка было своё место, где должно было повесить коробочку или мешочек. В первый день он не хотел расстаться с коробочкой, крепко



держал её ручонками, опасался, что отнимут. Чуть не плача подчинился требованию незнакомой воспитательницы и повесил своё богатство на указанный крючок на вешалке в коридоре. Через открытую дверь классной комнаты он то и дело поглядывал, на месте ли коробочка. Во время перерыва он съел свой завтрак и успокоился. А потом привык и, приходя, сам вешал завтрак на место.

Ему нравилось здесь всё, ведь впервые кто-то из взрослых занимался с ним, учил, отвечал на вопросы и при этом без подзатыльников. И то, что у каждого было своё место, и то, что давали бумагу и цветные карандаши – предмет его мечтаний – всё это наполняло его радостью. Если кто-то шалил, его круглые серые глаза выражали недоумение. Год пролетел быстро. Наступило лето. К этому времени он не просто знал алфавит. Он самостоятельно научился читать, причём и по-румынски, и по-русски. Он рисовал буквы, выискивал общие для двух алфавитов ($a = a$, $b = b$, $г = g$ и т.д.), складывал в слова. Склонность к анализу и системности была, видимо, дана от природы, а с годами она станет частью его натуры. Иногда, когда, сидя в уголке, сжав губы и наморщив лоб, Ицик выводил буквы, он напоминал маленького старичка.

Рассиживаться, однако, особенно не пришлось. Старший тринадцатилетний брат уже давно зарабатывал на жизнь, трудился подмастерьем у портного. Ицику предстояло пойти в первый класс, а пока лето только началось, и мальчишке, по мнению отца (у матери, похоже, своего мнения в семье вообще не было), нечего бездельничать. Он даёт ему работу по своей сапожной части. Усевшись на низкий табурет (по росту), он обрабатывает кожу для подмётки. Для того, чтобы кожа была плотной и не пропускала влаги (тогда ведь ещё не было обуви на микропоре), её нужно было подготовить особым способом. Подмётки замачивали на сутки, затем обтирали, слегка подсушивали, а потом влажные мягкие подмётки нужно было выколачивать по всей площади, чтобы влага окончательно ушла. И вот на коленки малышу кладётся тяжёлая металлическая доска, на которую отец помещает подмётку, и мальчонка тяжёлым молотком выбивает кожу, доводя до нужной кондиции. Уходит на это около часа, а ведь подмётки две!

Другое задание – выпрямление гвоздиков. Это были специальные гвоздики-тексы, которыми фиксировали заготовку верхней части обуви, когда её натягивали на колодку. Колодок у отца было много. Использованные тексы нужно было, аккуратно работая молоточком, выпрямить: какая ни есть, а экономия. Через год-полтора он выполнял уже более серьёзные поручения: на базаре в лавочке кожевника покупал кожу для подмётки. Напрасно продавец пытался всучить ему абы что: мальчишка уже знал, какого качества и размера должен быть кусок. Отец давал ему газетную копию подмётки, которую он располагал на выбранном куске кожи, учитывал необходимый припуск, смотрел, чтобы кожа была одинаковой толщины, без вмятин, дырочек и залысин. Хорошо знал: ошибётся – колотушек не миновать.

Отец был хорошим мастером, он и новую модельную обувь делал, и ремонтировал. Сын с интересом наблюдал, как он изготавливал офицерские сапоги. Это было настоящее искусство. Голенища должны были сиять, в них можно было глядеться как в зеркало. Голенища сапог артиллерийского и пехотного офицеров отличались от тех, что носил кавалерист. У кавалериста они должны были быть мягче, чтобы облегал не только ногу офицера, но и бока коня. Отец их гладил тяжёлым утюгом, смазав предварительно чёрным



воском. К нему часто приходили офицеры перед смотрами и парадами, чтобы навести глянец на сапоги.

Когда Ицику удавалось улизнуть на улицу, он обычно отправлялся на Вознесенскую в сторону Бендерской «рогатки». Слева за каменным забором тянулось старое еврейское кладбище, где уже в пору его детства не хоронили, но куда он с мальчишками иногда пролезал сквозь известный им лаз. Забирались они туда в поисках улиток – «равликов-павликов». Делалось это втайне от родителей, потому что ходить без нужды на кладбище и тревожить покойников считалось грехом. Ему никто об этом не говорил, но, слушая разговоры взрослых, он ловил информацию и сызмальства и исподволь усваивал многие истины, в том числе законы еврейской этики. А если бы кто спросил, почему в праздники и по субботам еврею нельзя ходить на кладбище, мальчик не смог бы объяснить: нельзя – и всё! Евреи вообще редко посещали кладбища. По традиции это происходило в месяц элул, перед Рош-ха-Шана и Йом-Кипуром. Шли утром, натошак, как бы постились. Детей при живых родителях при посещении кладбища с собой не брали. На могилы усопших клали не цветы, а камешки. А главная цель посещения – просить предков о заступничестве и помощи себе и своей семье. С подобной просьбой можно было прийти на почитаемую могилу праведника, если родственных захоронений не было.

Именно на это заброшенное кладбище направлялась похоронная процессия из стихотворения Довида Кнута. Маршрут может вычислить только старожил: евреи у Кнута «огибали Инзовскую горку, где жил когда-то Пушкин», далее процессия достигала улицы Азиатской, затем двигалась «вдоль жёстких стен Родильного Приюта». Куда же она могла направиться далее? Возможен лишь один путь: двигаясь по Вознесенской, процессия сворачивала на Кладбищенскую улочку. Ицик помнит кладбищенские ворота. На Вознесенскую выходила глухая стена кладбища, напротив которой находилась старая синагога.

Маленький Ольшанский иногда ходил в эту синагожку сапожников вместе с отцом. Показательно, что и синагоги объединяли представителей одной профессии, образовывалась своя среда, где каждый мог почувствовать свой вес и уважение окружающих, если он, конечно, их заслужил. Дальше, по той же правой стороне, тянулся заезжий двор – «хан», где крестьяне, приехавшие на рынок, оставляли лошадей. Работник поил их и задавал корм, вешая на морду торбу с овсом. Там же находилась корчма, где можно было поесть и выпить. После окончания базарного дня она никогда не пустовала. По соседству находилось ещё два таких «хана», один из них принадлежал отцу фельдшера Малявского, который жил наискосок от Ольшанских и лечил их семью. Но не «ханы» влекли мальчишку. Он бежал в кузню.

Кузница примыкала к кладбищенской стене. Расположение её было выгодное: у въезда в Кишинёв, у Бендерской «рогатки». Многим, приезжавшим в город нужно было подковать лошадь, починить телегу или отремонтировать экипаж. Да и из самого города заказы поступали. Её хозяином был дядя Йонтл Райгородецкий, младший брат его матери. Вместе с работником-цыганом (цыгане славились как кузнечные мастера) они изготавливали разные изделия из металла, там же работал и колесник Йоси Бухбиндер, младший брат богатого соседа Ольшанских. Его работа состояла из многих этапов, до тонкости отработанных за четыре тысячи лет с момента изобретения колеса: готовились-гнулись деревянные обода колёс, вытачивались из дерева спицы, затем спицы вставлялись в ступицу и обод,



а потом колесо, обтянутое железным ободом, насаживалось на ось – за всем этим с интересом следил любознательный мальчуган.

Но самым волнующим было наблюдать, как подковывают лошадей. Подковы меняли дважды в год, как теперь резину на машинах, - весной и ближе к зиме. В кузне хранилось много подков разных размеров, заготовленных впрок. Лошадей подковывали у входа в кузню. Беспокойных, чтобы не брыкались, помещали в специальное стойло, которое называли почему-то «станок». Со смиренными животными всё происходило иначе. Дядя поворачивался к лошади спиной, зажимал её ногу, согнутую в колене между своих ног, внимательно осматривал копыто, зачищал его верх специальным ножом, снимал старую подкову, очищал нижнюю часть копыта и начинал примерку новой подковы. Убедившись в том, что размер подходит, он отдавал её цыгану, и тот раскалял её в горне, после чего подкова одевалась на копыто. Запах палёной кости наполнял Ицика ужасом: ему казалось, что лошади больно, но к его удивлению она стояла смиренно. Затем происходила подгонка. Убедившись, что подкова сидит как влитая, дядя точными короткими ударами вбивал в неё острые четырёхгранные гвозди, концы которых выходили по бокам копыт, после чего лёгким постукиванием он загибал их, и дело было завершено. Хотя каждый удар молотка болью отдавался в мальчишке, он даже глаза закрывал от страха, что лошадь не вытерпит муки, но всё заканчивалось благополучно. Напряжение, в котором пребывал мальчуган, спадало, и он медленно возвращался домой.

Иногда во время уличных игр, мальчишки замечали похоронную процессию, к которой они неизменно присоединялись независимо от её конфессиональной принадлежности и сопровождали её несколько кварталов. Для них это было событие, выпадающее из размеренного распорядка будней, стало быть, своего рода развлечение. Увидеть катафалк под балдахинем, запряжённый парой лошадей, покрытых чёрными попонами и с султанами из чёрных перьев, укрепленных на конских головах, было большой, но редкой удачей. Так хоронили состоятельных горожан. Катафалк направлялся на Армянское православное кладбище. Но чаще они сопровождали усопших евреев. Фрагмент из стихотворения Довида Кнута «Кишинёвские похороны» поможет воссоздать обряд еврейских похорон:

За пыльной, хмурой, мёртвой Азиатской,
Вдоль жёстких стен Родильного приюта,
Несли на палках мёртвого еврея.
Под траурным несвежим покрывалом
Костлявые виднелись очертанья
Обглоданного жизнью человека.

Нынешнему читателю непонятно, почему еврея несли на палках? Ольшанский, в детстве наблюдавший еврейские похороны, объясняет: это были не палки, а носилки. Между двух длинных отполированных палок был натянут брезент, выстланный куском чёрного бархата. На него и укладывали покойника, обёрнутого в талес (если это был мужчина) и одетого в саван, закрывавший лицо. Усопшего накрывали черным покрывалом с вышитой жёлтой звездой Давида, сквозь которое просматривались очертания тела. Ицику запомнился острый нос одного из покойников, который угадывался под покрывалом. Процессия обычно шла по Петропавловской, поворачивала вверх, чтобы выйти на Харлампиевскую. Мальчишки твёрдо знали: отстав от процессии, которая продолжала свой скорбный путь на Скулянское кладбище, они должны свернуть в переулок и возвратиться домой по другой улице, ни в коем разе не идти вспять по



маршруту мертвеца, то-есть дорогой смерти. Таков был обычай, а обычаи в Кишинёве в ту пору соблюдали.

Ещё в ходу было честное слово. Особенно нерушимым оно считалось в купеческо-коммерческой среде. Однажды нашему отроку довелось оказаться на зерновой бирже. Бессарабию нельзя было назвать житницей Европы, но торговля зерном – пшеницей, рожью, ячменём – шла бойко и находилась она в руках евреев. Ицик наблюдал, как шёл торг, как заключались договоры. Если двое беседовали, третий не вмешивался, стоял в стороне, дожидаясь исхода разговора. Только если стороны расходились, не сойдясь в цене, он мог подойти к продавцу. Торг мог идти долго, взвешивали все *pro* и *contra*, но если всё складывалось, и они ударяли по рукам, можно считать, что сделка состоялась. Всё держалось на честном слове коммерсанта. Тут же на месте продавец отправлял через посыльного записку приказчику на склад с указанием отпустить такому-то столько-то такого-то зерна. В свою очередь покупатель направлял одного из вертевшихся тут мальцов к знакомому балагуле с предложением к такому-то часу поставить нужное количество телег по такому-то адресу для вывоза купленного товара. Одним из таких балагул, как вы помните, был Бухбиндер, проживавший на Георгиевской 32. Но за углом на Петропавловской проживал ещё один балагула, успешный конкурент Бухбиндера. Однако законы конкуренции в ту пору были куда гуманнее, чем ныне, и «на стрелку» никто никого не вызывал.

Обманы случались, но если они были доказаны, дело редко доходило до казённого уголовного суда. У евреев считалось грехом предать единовеца в руки государственного правосудия. Существовали суды выборных старейшин, состоявшие из трёх самых уважаемых граждан той или иной профессии – сапожников, стекольщиков, портных, торговцев и т.д.. Ольшанский помнит историю, в которой был замешан хозяин мануфактурного магазина некий Брухис. Ежегодно текстильный фабрикант, чей товар успешно реализовывали в его магазине, переводил на банковский счёт хозяина сумму для поощрения приказчиков (в советские времена это называлось тринадцатой зарплатой). Но вот наступил заветный день, а приказчики желанных денег не получили. Как-то при случае, когда фабрикант появился в магазине, старейший приказчик задал вопрос, неужели они стали хуже справляться с обязанностями, а может быть, не дай Б-г, финансовое положение фабриканта вынудило его отступить от уже сложившейся традиции? Тот был немало удивлён: он ведь перевёл деньги. Выяснилось, что Брухис всю сумму присвоил и не поделился с работниками. Дело разбирал выборный суд мануфактурщиков. Хозяину магазина пришлось заплатить приказчикам, но его репутации был нанесён непоправимый ущерб. Как говорили в таких случаях в Одессе, жадность фраера сгубила.

Понятие о чести бытовало не только в дворянской среде. Ольшанский помнил, как однажды по махале разнеслась весть о том, что молодой коммерсант, потерпевший банкротство и не расплатившийся с кредиторами, бросился под поезд, проходивший вдоль Бычка. Вместе с мальчишками он помчался «на линию» (так называли железнодорожный путь) к месту происшествия и своими глазами увидел обезображенный труп несчастного невольника чести. Стыд заставил его уйти из жизни. Вот такая печальная история. Мне известна совсем другая, рассказанная Бальзаком в его «Человеческой комедии». Барон Нусинген трижды объявлял себя банкротом и нажил на этом такое богатство, что стал известен всей



Франции. «Если он проделает это в четвёртый раз, его будет знать каждый дикарь Новой Зеландии», - уверял писатель. Другие масштабы, другая ментальность!

Как однажды счастье вдруг постучалось в двери

Дети в бедных семьях быстро взрослеют, рано становятся самостоятельными. Семилетний Ицик уже помогал взрослым, но, улучив минуту, удирал со двора и отправлялся в центр. Его как магнитом тянуло к книжному магазину на Александровской. Однажды зимним воскресным днём мальчонку, торчащего перед книжной витриной Серафимовского дома, заметила супружеская пара, прогуливавшаяся по центральной улице. Это были богатые люди: он был в пальто на меху с бобровым воротником, дама тоже была в мехах и источала аромат тонких духов. Магазин был закрыт. Сторож с окладистой бородой, явно из липован (потомок старообрядцев-раскольников, бежавших из России во времена Петра I), в овчинном тулупе важно восседал у двери, отделённой от улицы приспущенной решёткой. Мальца он не прогонял. Замёрзший мальчишка пританцовывал перед витриной, шмыгал носом и увлечённо читал по складам названия книг. Остановившись за его спиной, важный господин спросил по-румынски:

Что ты здесь делаешь, малыш?

Я? Читаю книги.

Как же ты их читаешь? Они ведь за стеклом.

А я читаю названия, а потом придумываю, что в них.

Ицик не без гордости бойко прочёл незнакомцам несколько названий, ответил, кто он, где живёт. А далее господин спросил, какие книги он хотел бы иметь. Книги в витрине были на румынском языке. Ицик назвал с десяток, а господин что-то записывал тонким карандашиком в книжечку. А потом подал листок сторожу вместе с визиткой: - Передай хозяину, чтобы завтра доставил книги по адресу.

У этой встречи было продолжение совершенно сказочное. На следующий день на Георгиевской показалась пролётка. Обитатели прилипли к окнам: к кому это пожаловали господа? Кучер остановился у двора, где проживали Ольшанские, посыльный вышел с большущей связкой книг. Это был подарок маленькому Ицику от богатого прохожего. На приложенной визитке значилось: Адвокат Магдер и адрес – улица Подольская. Как видите, чудеса случаются.

Из подаренных книг Ицику больше всего полюбилась история Гулливера в стране лилипутов. Он тогда не запомнил имени автора и только будучи взрослым узнал, что книгу написал Джонатан Свифт, проживавший в XVIII веке на берегах туманного Альбиона. Когда его однажды повели фотографироваться (событие!), он взял эту книгу и держал перед собой, так что на снимке запечатлелась её красивая обложка.

Дело этим не ограничилось. Через некоторое время всё повторилось, только на этот раз на Георгиевской появился фазтон, а с него сошёл солидный, на вид пятидесятилетний господин. Он представляется родителям мальчика: адвокат Соломон Яковлевич Магдер. Его имя Ольшанским ничего не говорит, хотя адвокат после окончания факультета права Ясского университета уже пятнадцать лет практиковал в Кишинёве и принимал самое активное участие в жизни еврейской общины. Как удалось мне выяснить, копаясь в специальной литературе, подписи С.Магдера стояли под многими документами и отчётами еврейских благотворительных обществ.



Причина визита? Они с женой хотели бы усыновить маленького Ицика. Хотя он был четвёртым и нельзя сказать, чтобы уж очень желанным ребёнком, предложение встретило категорический отказ. Что скажут люди?! Как можно, при живых родителях?! Магдер идёт на уступки: пусть не усыновление, он готов взять способного мальчика на воспитание, он даст ему образование. Их сын будет учиться за границей – во Франции или в Германии. Родители в недоумении: зачем бедному еврею образование? Дай Бог Ицику стать мастеровым. Отец его – сапожник, а сын будет учиться на портного. Профессия портного считалась более почётной. Если улыбнется удача, будет работать в известной в Кишинёве фирме «Кавалер Шик». Таков был предел мечтаний. Это ателье находилось в центре на Михайловской (при Советах - Косомольская, ныне – Эминеску). Ицик частенько простаивал перед его витриной, разглядывая разодетые манекены. Так и не убедив родителей, уехал Магдер ни с чем.

Родители некоторое время не разрешали сыну слоняться по улицам: вдруг украдут. Но никто его не похитил. Зато сам он, движимый любопытством, отправился в верхний город на Подольскую. В свои семь лет он ещё не страдал от невзгод, тесноты, унижительной бедности, в которых пребывала их семья, он ведь не видел другой жизни. Но он начал осознавать, что помимо местечкового мира существует иной. Достаточно пересечь Николаевскую улицу и подняться в верхний город - и ты окажешься в нём. Там даже небо казалось голубее, а у них вечно пыль стояла столбом. Цепкий детский глаз заметил, что тёток в платочках и стоптанных туфлях здесь сменили дамы в шляпках и на каблучках.

Он нашёл дом Магдера на одном из кварталов этой престижной улицы между Михайловской и Купеческой. Дом был добротный, в нём адвокат проживал, и тут же располагалась его контора, на что указывала начищенная до блеска табличка. Ицик посмотрел на тяжёлую дубовую дверь с красивой бронзовой ручкой, на сияющие чистотой высокие окна и побрёл к себе на Георгиевскую.

В церковно-приходской школе

Старшие сестра и брат окончили начальную школу Берлиба (по имени директора), а Ицик был принят в церковно-приходскую школу при Георгиевской церкви. Еврейских детей здесь было мало, но всё же еврейско-русский воздух в городе не был вытравлен, просто появился в нём ещё и румынский компонент. Несмотря на запреты кишинёвцы продолжали говорить по-русски, тем более что в 1918 году в городе оказалось много беженцев из прежней России. Нет нужды пускаться в подробности: все помнят булгаковские «Дни Турбиных» и «Бег». Не все добежали до европейских столиц, кое-кто осел в Кишинёве, где при румынах сохранялись привычные с царских времен устои быта, в том числе и церковно-приходские школы.

Попутно замечу, что моя бабушка, родишаяся в Новогрудках (родина Мицкевича) в 1884 году, тоже окончила церковно-приходскую школу и стала заядлой книгочкой, театралкой, хотя профессия её была – модистка-верхница. И когда Ольшанский сообщил мне, что он окончил церковно-приходскую школу, я поначалу обомлела, полагая, что с ними было покончено в 1917-м году.

Итак, в первый же день в школе перед началом урока учительница велела всем положить руки на парты и тщательно осмотрела их: чисты ли, нет ли следов чесотки, подстрижены ли ногти. В детском саду Ицик к подобным осмотрам привык и не удивился. Если на ком-то находили вошь,



а такое случалось, весь класс отправлялся на дезинфекцию: всю одежду «прожаривали», а ребята мылись в банном помещении. Класс был мужской, девочки учились в другом здании.

В первом классе обучали письму, чтению, счёту. Правда, читать и писать печатными буквами Ицик выучился самостоятельно до школы. Но здесь прививались и навыки этикета: учили, как приветствовать учителя, как правильно здороваться со взрослыми, уступать дорогу старшим, показывали, как пользоваться ножом и вилкой, объясняли, что чавкать, разговаривать с набитым ртом, плевать, сквернословить – некрасиво, сморкаться нужно в платок.

Это была начальная школа. Обучение продолжалось четыре года и проходило на румынском языке. Говорить на русском языке в школе запрещалось. Каждый год учителя менялись. Уроки чистописания и каллиграфии помогали выработать красивый почерк. Урок письма прививал весьма полезные навыки: учеников обучали, как правильно начать и кончить письмо, как надписать на конверте адрес, как писать заявление, прошение, жалобу. Ничему подобному в послевоенной советской школе не учили, и мы были беспомощны в элементарных практических делах.

Ярким доказательством тому служит следующая история. Когда моя младшая коллега на исходе 80-х улетала в гости к родственникам в Нью-Йорк, я вручила ей документы всей нашей семьи с просьбой отослать по приезду в организацию, ведающую приёмом советских евреев. Думала, если уж решаться на эмиграцию, лучше оказаться в англоязычной среде, хоть с языком проблем не будет. Проходит месяц, и я получаю пакет со своими документами. Советский доцент перепутала местами адреса отправителя и получателя. Она с отличием окончила университет, московскую аспирантуру, но в церковно-приходской школе ей учиться не довелось, и печальный результат – налицо. Но мы вернёмся в 1936 год.

На уроках арифметики детей знакомили со всеми основными геометрическими фигурами: треугольниками, конусом, цилиндром, ромбом, шаром, трапецией. Ученики умели отличить квадрат от прямоугольника.

Любимыми уроками маленького Ольшанского были история и география. Тут открывался новый мир. Историю Румынии он постиг именно тогда, но до сих пор ему не даёт покоя вопрос, почему в Бессарабии да и сейчас в Молдове так почитают римского императора Траяна, ведь это он вынудил вождя фракийского племени даков Децебала, прежде побеждавшего римлян и даже получавшего с них дань, покончить жизнь самоубийством после поражения в очередном сражении. Даки считались далёкими предками румын. А потому ему было невдомёк, почему фигура капитолийской волчицы (*Lupa Capitolina*) – «лупойки», вскормившей Ромула и Рема, уже на исходе 80-х годов, когда зашевелились националисты, оказалась на постаменте перед внушительным зданием, где при румынах располагался Лицей имени писателя Богдана Хашдеу. Ныне в нём - Исторический музей. Здание находится в верхней части города на углу улицы Киевской (ныне 24 августа 1998) и улицы Гоголя (ныне - митрополита Бэнулеску-Бодони).

На уроках географии он узнал названия столиц всех европейских и латиноамериканских, а также некоторых восточных государств, их фауну и флору. По требованию учителя он находил их на карте. Учитель давал задание по памяти нарисовать очертания не только «сапожка» Италии, Африки, обеих Америк, но и Греции, Испании, Британских островов и даже Скандинавии.



Любил он также уроки музыки и пения. Учительница приходила со скрипкой, она наигрывала мелодию, и дети начинали петь, иногда даже на два голоса. Он и сейчас помнит слова и незатейливые весёлые мелодии народных молдавских песен.

От урока Закона Божьего еврейских детей освобождали, но батюшка требовал, чтобы они самостоятельно приобщались к Ветхому Завету, который он почитал. Это лежало на совести каждого, но знания их никто не проверял. Правда, в жизни Ицика был момент, когда отец решил, что мальчишку нужно учить молитвам. Некоторые еврейские дети посещали хедер, двоюродный брат Ицика, сын кузнеца Йонтла был даже принят в знаменитую ешиву Цирельсона. Но отец полагал, что его сыну, чтобы знать молитвы, не обязательно протирать штаны ещё и в хедере. А потому был приглашён шурин, муж старшей отцовской сестры, бывший учитель еврейской гимназии Явнэ. Он читал молитву на иврите, а Ицик должен был её повторять. Но поскольку родственник был стар, он засыпал, не дойдя до второй молитвы. Воспользовавшись этим, ученик выскальзывал из дома. Так что из отцовской затеи ничего не вышло.

Между тем, антисемитские настроения в школе на последнем году обучения стали явственно проявляться. На дворе стоял 1938 год. В Германии уже вовсю действовали антиеврейские Нюрнбергские законы, а в Румынии подняла голову фашистская партия профессора Яского университета Кузы. Учительница, преподававшая в четвёртом классе, была членом этой партии – «кузисткой». Подогревать антисемитизм учеников-христиан не требовалось: память о погроме была ещё жива. Правда, антисемитизм некоторое время не поощрялся, и евреи смогли слегка вздохнуть, но сейчас подули новые ветры. Несколько раз, вызывая Ицика к доске, она говорила: «Жидан, иди сюда!» Это стало сигналом для одноклассников-христиан. Они начали дразнить и издеваться над евреями. Но и евреи были уже не те. Однажды отпущенная с урока Закона Божьего, четвёрка «пархатых» не разошлась по домам, а двинулась вниз по Георгиевской мимо церковной ограды и затаилась в тупичке между церковным двором и двухэтажным особняком Бербера, владельца кожевенной фабрики. Здесь, засев в засаде, они дождались, когда после окончания урока мимо них пройдёт небольшая группа их обидчиков. Со свистом и гиканьем бросились они на не ожидавших нападения мальчишек и отмузузили их от души, приговаривая: «Это тебе за жида! А это за пархатого!» Драка не имела последствий и даже продолжения. Наступило затишье.

Учительница, однако, продолжала свирепствовать. Наказания за малейшую провинность сыпались на всех учеников независимо от вероисповедания. Узнав, что отец Ицика сапожник, она принесла ему в ремонт туфли. И хотя они были бесплатно отремонтированы и даже доставлены ей на дом (она проживала в центре, недалеко от митрополии), к Ицику она не смягчилась и то и дело больно била линейкой по безропотно подставленной ладони. Ладонка становилась красной и вспухала. Но однажды, когда учительница двинулась к нему с линейкой, он, весь дрожа перед предстоящим наказанием, выпрыгнул в окно, благо оно было открыто. Эта дерзкая выходка, к счастью, осталась без последствий.

Мальчик учился прилежно. В конце каждого учебного года проходили экзамены. Ицик выдерживал их на отлично и возвращался домой с «коронай», которой награждали отличников. Кое-кто нёс её в руках, он же надевал позолоченное чудо на льняные волосы и гордо вышагивал по



пыльной улице. Когда он явился во двор в короне первый раз, он ожидал похвалы, но дома отец его встретил насмешками: «Подумаешь, корона! Корона из картона! Давай снимай! Нечего ломать фасон! Подумаешь, принц выискался!» Безответная мать не посмела одёрнуть мужа. Мальчик, глотая слёзы, снял свою награду.

После школы его ждала работа по дому. Обязанностей было много. Нужно было наколоть щепок для растопки печки, натаскать воды из колонки, задать корм курам, покормить собаку, сходить в булочную, а главное – поручения отца. Помимо покупки кожи в лавке на базаре, Ицик должен был частенько нести обувь к «латочнику», у которого была специальная машина. Отец мелом помечал место латки, объяснял необходимость проследить, чтобы при строчке, если кожа была тонкой, была положена прокладка. Всё это надлежало запомнить, иначе – колотушка. Иногда он нёс в кошёлке одну пару, но чаще – две-три. Путь к «латочнику» был не близкий: свернув с Георгиевской на Петропавловскую направо, он доходил до Кожухарской, где находилось сразу три пекарни и стоял такой вкусный хлебный дух, что голодного мальчишку мутило, дальше он шёл до Минковской, Теобашевской и добирался до Екатериновской. Там и проживал «латочник». Это была другая махала – *Олте Брик* (в переводе с идиш - Старый мост), её центром и была Азиатская.

Для Ицика улица не было мёртвой, как для Довида Кнута, чьё стихотворение дышит памятью о погроме:

Но никогда не передам словами
Того, что реяло над Азиатской...

О том, что реяло над Азиатской на пасху 1903 года, поведал Хаим-Нахман Бялик в «Сказании о погроме». Но Ицик ещё не знал имён этих еврейских поэтов. Правда, страх перед погромом засел в нём на генетическом уровне.

Надо сказать, что воспитание детей в низших социальных слоях отличалось строгостью и даже жёсткостью. Считалось, что только так и можно подготовить чадо к жизненным испытаниям. Не привыкший к ласке, которой он, как всякое живое существо, жаждал (доброе слово и кошке приятно!), маленький Ольшанский в то же время стал презирать и даже ненавидеть избалованных «маменькиных сынков» (почти по Маяковскому: «Я жирных с детства привык ненавидеть»). Его социальная ненависть оформилась уже после окончания начальной школы, где нравы тоже были достаточно суровые. Казалось, к чему было хлестать линейкой по рукам ребёнка-отличника? Ан нет, жидёнок должен знать своё место! И он постепенно начинает его осознавать.

Но вот странный парадокс: помимо своей воли он оказался желанным гостем в домах его состоятельных сверстников. Их родители-христиане охотно привечали спокойного еврейского мальчика - кто в надежде, что он поможет в учёбе их отпрыску, кто – видя в нём товарища сына, который плохому их чадо не научит.

Три товарища не по Ремарку

Когда Исаак перешёл в третий класс, к ним домой пришла мать его одноклассника Митики Мындырштяну, красивая статная липованка, и попросила Ханну Ольшанскую, чтобы она разрешила сыну заходить к ним в дом после школы. Митика учился посредственно, его посадили с Ициком за одну парту, чтобы он помогал середнячку. Любящей матери хотелось, чтобы рядом с её мальчиком был товарищ, у которого можно было бы научиться хорошему. Митика не был тупым, но он был балованным



ребёнком. Единственный любимый сын немолодого румынского офицера-капитана. Отец его был интендантом, иначе говоря, ведал снабжением всего кишинёвского гарнизона. Естественно, их дом в Общем переулке был, как говорится, полная чаша.

Мындырштяну владели хорошим домом с небольшим садом. Ицик стал заходить к ним после уроков дважды в неделю. Отец Митики бывал в это время на службе. Мать была моложе мужа, живая, очень домовитая, чистоплотная. Прежде чем засадить за уроки, детей усаживали обедать. Блюда не были изысканными, но кормила мама Митики очень вкусно, порции были непривычно большими, так что мальчишек начинало клонить ко сну. Ицик был поражён тем, что мать исполняла любую прихоть сына: он просил подать вишнёвое варенье к чаю, мать тут же вынимала из буфета банку. Съев ложку, сын требовал клубничного - оно появлялось мгновенно. Хотя Ицику при этом перепадало из двух банок, приятеля он не одобрял.

Делая уроки, он не давал Митике списывать, а вначале объяснял ему задачку, просил самому искать решение, если видел ошибку, предлагал подумать. Он его натаскивал, как собаку перед охотой. Сам того не подозревая, он вносил элемент игры в учёбу, и Митика, хоть и был с ленцой, охотно включался в игру, и так незаметно домашние задания оказывались выполнены. Мать не могла нарадоваться. А Ицик впадал в грех зависти, видя как эта красивая ладная женщина прижимает, гладит и голубит своего ненаглядного сыночка. Ему такая ласка никогда не доставалась, а ведь он был не хуже Митики. Жаль-обида оседала в детской душе.

Но уходить в себя в ту пору мальчику было недосуг. Появилось увлекательное развлечение: игра в настольный теннис. Случайно он узнал, что еврейское спортивное общество «Маккаби» бесплатно принимает ребят в разные спортивные кружки (мы бы сказали – секции) и отправился туда. Он был невысок, но складный, подвижный, и его определили в кружок настольного тенниса. Общество находилось в большом каменном здании «Талмуд-Торы», ниже Хоральной синагоги, на углу Синадиновской и Николаевской, по которой ходил трамвай. На базе «Талмуд-Торы» действовало известное училище «Культура и труд», в котором обучались дети безработных и чернорабочих.

Спортивные занятия в «Маккаби» проходили вечером. Поздней осенью рано темнело, и, пользуясь этим, маленький Ольшанский, устроившись на буфере трамвая, подъезжал от Армянской до улицы Пушкина. Он побаивался темноты. Когда он возвращался домой и шёл от Николаевской вниз, где фонари были редкостью, ему мерещилась опасность за каждым кустом, но он шёл вперёд, сцепив зубы: воспитывал волю. Годом ранее он начал испытывать себя в ином: донесёт ли он ведро воды от колонки, что на Петропавловской, до их двора, не расплескав, и лишь с двумя остановками. Ручка впивалась в ладошку, тяжесть тянула к земле, последние шаги давались с трудом. Ведро было эмалированное, само весило прилично, да и воды литров 10. С каждым разом он увеличивал число шагов, которые должен осилить без передышки. Сам себя воспитывал мужчиной.

Направляясь по воду, он иногда задерживался возле гончарной мастерской. Летом двери её были открыты, и можно было наблюдать, как под руками гончара возникает изделие из мягкой глины. Ноги приводили в движение гончарный круг, а руки, которые мастер время от времени обмакивал в воду, придавали нужную форму куску глины. Как ловко всё получалось!



Во дворе, где проживал и работал гончар, располагался шинок. Туда частенько наведывались уличные музыканты: за стакан вина и тарелку мамалыги со шкварками, а то и брынзой молдаване играли знакомые мелодии на флуерах и нае (особые духовые инструменты, вроде флейты, но из дерева), цыгане наяривали на скрипочках. Слушать – удовольствие, но дома ждут его с водой...

Самым закадычным дружком нашего мальчика раньше Митики стал Зюка Споялов. Особняк Спояловых располагался на Георгиевской по соседству - дом в дом с Ольшанскими. Это был крепкий котельцовый дом с коваными воротами и большим двором, уходившим вглубь квартала. Двор переходил в обширный фруктовый сад. За домом находились и хозяйственные пристройки (сарай, амбар, курятник). В доме было электричество, радио, ванна и туалет. В самой просторной комнате - гостиной – под висячей люстрой стоял большой овальный стол, а вокруг тяжёлые стулья с высокими резными спинками. В углу комнаты на стенах висели иконы с тёмными ликами в золочённых и серебряных окладах. Они совсем были не похожи на те, что расписывал сосед Ольшанских. Те были яркие, весёлые, а эти – суровые, даже пугающие. Перед ними всегда горела лампада.

Отец Зюки – дядя Ваня (в Бессарабии и вообще на юге ко всем, кто вам не папа, не брат и не дедушка, было принято обращение «дядя», а к женщинам - «тётя»; я по сей день для великовозрастного сына моей одесской школьной подружки – «тётя Грета», а её покойная мама для меня была «тётя Фася»), ой, так долго разъясняла, что уже забыли, о ком речь. Итак, дядя Ваня Споялов был то ли начальником, то ли крупным чиновником Бессарабской железной дороги. В своё время он кончил политехнический факультет Киевского университета. Мать, тётя Зина, происходила из духовного сословия. Её родителям принадлежали земли в Сергеевке (ныне курорт в Одесской области), это было большое богатое поместье. Дед был настоятелем собора. В доме говорили по-русски.

Хотя тётя Зина была образованной, иногда музицировала, положение её в доме было подчинённым, неважно, что у них была прислуга. Дядя Ваня бывал груб с женой, и это в глазах Ицика уравнивало эту грузную женщину в шуршащих шёлковых платьях с обижаемой отцом безответной матерью. Тётя Зина частенько подходила к окошку Ольшанских, стучала в стекло перстнем с большим фиолетовым камнем (мальчик не знал, что это – аметист, драгоценный камень, почитаемый церковниками) и приглашала «мадам Энну» заглянуть к ней ненадолго. О чём могли беседовать эти женщины, далеко отстоящие друг от друга на социальной лестнице, он до сих пор понять не может. Возможно, Зинаида Споялова изливала душу тихой, немногословной неграмотной еврейке, её боль находила отклик и сочувствие в душе матери Ицика, ведь она была добрым человеком. К тому же жена инженера-путейца была уверена, что тайна исповеди будет сохранена.

У Спояловых подрастали три сына: старший, Вадим, был ровесником Рахили, второй, Петрика, - ровесник Шики, а третий – Зюка (Зиновий), был на год старше Ицика. Все братья учились в классическом лицее имени Александру Донича. Из него выходили будущие адвокаты и крупные чиновники. Лицей располагался в красивом большом особняке на Садовой улице (ныне - Матеевича). При Советах это был главный корпус сельскохозяйственного института, который окончит наш герой в 1955 году. Пока же ему об этом даже не мечтается.



Тётя Зина частенько собирала сыновей в детской, где они устраивали импровизированные концерты: Петрика играл на флейте, Дима – на гитаре, Зюка – на скрипке, а сама она пела, у неё был чудесный голос. Ицик часто присутствовал при этом, постукивал по тамбурину, улавливая ритм, наслаждался и завидовал одновременно. Завидовал он и тому, что в их доме было много книг. Тётя Зина была заядлой книголюбой, у них были сочинения всех русских классиков. А в детской стоял застеклённый книжный шкаф с литературой на румынском языке, потому что во всех лицеях преподавание велось на государственном, румынском языке. Тут стояли книги не только румынских авторов, но и переводы с английского, французского, немецкого языков. А у Ольшанских книг не было, только подаренные Магдером. Отец Ицика читал русскую газету «Бессарабское слово», которую употреблял на самокрутки. Газета «Бессарабская почта» появлялась в доме изредка. А в доме Спояловых кроме газет были и журналы на двух языках.

Летом Зюка и Ицик пропадали в саду. Когда поспевали бахчевые, тётя Зина просила маму Ицика не в службу, а в дружбу укараулить, когда на улице будет проезжать в сторону базара телега с арбузами на продажу. И если арбузы, по мнению «мадам Энны», будут заслуживать внимания, остановить хозяина и направить к ним во двор. Если такое случалось, арбузы с телеги перегружались в большой погреб, где для них выгораживался угол. И тут наступало время «повеселиться».

Мальчишки наедались «от пуза», но важнее было другое. Выев красную мякоть, т.е. сердцевину арбуза, они изготавливали из полый корки нечто наподобие пузатого фонаря. Для этого в корке тонким острым ножом аккуратно прорезались отверстия, иногда это были рожицы, иногда орнамент. Затем из-под низа прорезалась круглая дырочка, в которую вставлялась свечка. Отверстие заклеивалось воском, чтобы она не выпала. У этого сферического сооружения была крышка – верхушка арбуза, с которой и начиналось его «вскрытие». Крышка закреплялась на бечёвке, которая становилась ручкой. Когда вечерело и темнело, свечку зажигали, и мальчишки появлялись на улице каждый со своим светильником. Свет от свечек пробивался сквозь дырочки в кожуре, зрелище получалось просто фантастическое. Взрослые обитатели соседних домов, особенно женщины, высыпали на улицу, чтобы полюбоваться волшебными огнями.

Когда наступали холода, Зюка с Ициком уединялись в подвале-погребе, куда можно было попасть, откинув тяжеленную окованную дверь (вдвоём с ней едва справлялись). Там было гораздо теплей, чем на улице, и ребята часами мастерили там свои мальчишечьи сокровища, благо электричество в подпол было проведено. Там стояли бочки с соленьями: огурцы, помидоры, капуста. Нафаршированные капустой, тушёнными морковью, луком, болгарским перцем синие (баклажаны), перевязанные ветками сельдерея, плавали в масле в небольшом бочонке. Всё это благоухало – стоило приподнять деревянную крышку. Мальчишки иногда позволяли себе похрустеть солёным огурчиком. Вдоль стенок тянулись полки, уставленные керамическими горшками с повидлом и вареньями разных видов.

В углу хранились подвешенные к потолку на крюках копчёные окорока. У вечно голодного Ицика слюнки текли, но он не подавал вида. Даже когда его приглашали к столу (а такое не раз бывало), он из гордости поначалу отнекивался, пока дядя Ваня не повышал голос. Только тогда он усаживался на тяжёлый стул и старался есть не спеша, аккуратно. А уж о



том, чтобы в подполе отрезать кусочек от окорока, даже мысли не возникало. Но иногда Зюка просил кухарку дать им по ломтику окорока. Есть его можно было только наверху, за столом, с тарелки, вилкой, с хлебом. Таков был заведённый в доме порядок.

Однажды, бродя по улицам, ребята проголодались, и Зюка, зашел в бакалейный магазин Когана, где он часто бывал с мамой. Тётя Зина никогда не рассчитывалась наличными, стоимость покупок заносилась в специальную книгу, а в конце месяца хозяин являлся в дом Спояловых со счётом и получал от хозяина деньги. Зюка обратился к продавцу и попросил отвесить им по кусочку колбасы, которую они уплели на улице. Случай забылся, но в конце месяца дядя Ваня, просматривая счёт из бакалейного магазина, удивился: что это ещё за 150 граммов колбасы?! Тётя Зина покупала обычно не менее килограмма. Тогда Зюка признался в содеянном. Родители были возмущены не самим фактом покупки, а тем, что их сын как какой-то «шкуц» (уличный пацан) ел колбасу на виду у всех, на улице!

Иногда Ицику доводилось наблюдать, как дядя Ваня принимал в гостиной (не в кухне!) посетителей и беседовал с хозяевами лавок, приказчиками, ремесленниками, которые обслуживали семью и приходили со счётами. Он удивлялся, как этот - в его глазах могущественный и богатый - человек запросто, не чинясь, не важничая, беседует с ними о жизни, интересуется их делами. Это тоже были уроки, примеры демократичного поведения, уважительного отношения к человеку подчинённому.

В доме у Спояловых ему доводилось есть всякие вкусности, но особенно запомнились угощения на Пасху. Тётя Зина пекла каждому из сыновей и, конечно, Ицику маленькие пасочки

(так называли здесь куличи). Сдобное тесто вылезало из формочек, и изделия напоминали толстый гриб со шляпкой. Шляпка была посыпана разноцветными сахарными крупинками, напоминавшими просо. Тесто в пасочках было желтоватое мягкое слоистое и пахло одуряюще вкусно. Кроме этого гостинца, он получал целый короб пасок и пару десятков крашеных яиц, которые тётя Зина посылала всей семье Ольшанских. Зюкин дед, как уже сказано, был настоятелем собора, а на Пасху верующие приносили святить свои куличи в церковь, стояли всеобщую службу и обязательно оделяли батюшку своими дарами. Бабушка переправляла часть подношений прихожан дочери, а тётя Зина, в свою очередь, оделяла Ольшанских. Хоть и нехристи, но ведь Иисус Христос – сын иудейки Марии, так что пусть и евреи порадуются в дни христианского праздника. Ольшанские угощением не пренебрегали.

На Рождество Ицик вместе с Зюкой отправлялись колядовать. Обычай был старинный, пришедший из языческих времён, связан он был с зимним солнцеворотом, чего ребята не могли знать. Высокий смысл Рождества был неведом не только детям, но и многим взрослым, которые оставались глухи к Слову Божию. Дети знали одно: приближается важный праздник, и наступает час колядок - *колиндэ* – весёлых песен, исполняя которые они ещё и угощение, а то и подарки получают. Сидя в подвале у Спояловых, они несколько дней готовились к этому событию. На длинную гладкую палку крепили большую пятиконечную звезду – имитация Вифлеемской, символизовавшей рождение Христа. Каркас её изготавливали из прутьев и проволоки, обтягивали цветной гофрированной бумагой, а в центр помещали иконку, оклад ей заменяла бахрама из фольги. Некоторые



перед иконкой крепили свечку, но тётя Зина осторожничала и не разрешала, и их звезда сияла за счёт фольги.

В этот вечер дети по всему городу ходили от дома к дому, пели колядки и собирали небольшую дань: где копеечку, где яблоко, где конфетку, где плетёный калачик дадут. Зюка с Ициком не мелочились, они знали, куда идти. Прежде всего, колядовали домашним: дяде Ване, тёте Зине и старшему брату. Здесь они обычно пели благостную колядку:

Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льёт.
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!

И хотя она повторялась из года в год, тётя Зина умилялась и пускала слезу. Все раскошеливались. Иногда перепало по 20-30 лей. Огромные деньги! Затем, перейдя улицу, парочка направлялась к дому хозяина кондитерской фабрики грека Гарагули. Окна сияли огнями. В его большом доме проживало много народу: кроме хозяина, квартиры имели его дочери с семьями, люди это были состоятельные, так что тут ребят ждал хороший «улов». Здесь исполнялась другая колядка:

Господин, господа.
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь ещё!

Расчитывали они правильно: их одаривали и пирогами, и кое-чем ещё – денежками. От Гарагули они сворачивали к дому фельдшера Малявского, а далее – к интенданту Мындырштяну. В колядках славились хозяева дома, мальчики желали им здоровья, дому – изобилия. Старались во всю, и в итоге собирали кругленькую сумму, что позволяло в дальнейшем купить Ицику кое-что из одежды, но главное - несколько раз сходить в кино «Экспресс» на Шмидтовской и в «Колизей». Именно здесь он увидел поразивший его фильм «Искатели счастья» о советских евреях, переселившихся на Дальний Восток. Герои биробиджанской истории вошли в кишинёвскую жизнь, только и слышались реплики Пини Копмана: «А сколько может стоить этот пароход?» и незадачливого Шлёмы, настоящего «ёлда» из местечковых историй: «Тётя Двойра, ви хотите иметь мене за зятя?». Песенки Дунаевского распевали на всех углах нижнего города. Примечательно, что этот советский фильм шёл в Румынии на русском языке, и все могли его свободно посмотреть, что лишний раз подтверждало: еврейско-русский воздух и даже дух румынам в Кишинёве вытравить не удалось. На дворе стоял 1937 год.

Во дворе Георгиевской церкви в День Рождества было не протолкнуться. Но учеников приходской школы там привечали, и Ицик вместе с ребятами получал в ладошку полную ложку вкусной кутьи - это были варённые в меду зёрна пшеницы.

Святки продолжались 12 дней – от Рождества до Крещения, т.е. праздники длились от 25 декабря до 6 января. Но сельские жители и многие православные горожане праздновали Рождество по юлианскому календарю с 7 по 19 января, и на 14 января приходился Новый год (как теперь говорят, старый Новый год; попробуй объясни это немцу!). Это тоже был весёлый



праздник. С особым размахом его отмечали в сёлах. Собиралась целая процессия ряженных (рядились в шкуры медведями, козами), во главе двигалась пара быков или волов с плугом – *плугушорул*. Бык символизировал благополучие: помогает обрабатывать землю, растить хлеб, собирать урожай. Его появление сулило удачу дому. Гуляки двигались от дома к дому, где их радушно встречали, угощали, замёрзнуть не давали. Веселье кончалось далеко за полночь.

В Кишинёве Новый год праздновали по григорианскому календарю - 1 января. С быками по улицам ряженные не ходили, но ребята мастерили к этому дню подобие быка. Основной обычно служил бочонок, в котором сбивали масло. Тётя Зина жертвовала узкий бочонок, который мальчишки обтягивали кожей. Задачей Ицика было раздобыть побольше конского волоса. Его предстояло надёргать из хвостов лошадей. Лошади Бухбиндера покорно терпели проделки мальчишки, и в результате десятков – другой длинных конских волос оказывался в подвале Спояловых, где шёл процесс изготовления «быка». Волосы крепились на бочонке, и, натёртые канифолью и натянутые должным образом, они издавали звуки, напоминавшие мычание (подобные звуки можно извлечь из контрабаса). Роль «быка» доставалась Ицику, а Зюка нёс корзиночку с зерном, и они отправлялись «сеять-посевать»:

Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Счастья будет вам горой,
Урожая воз большой!
Сеем, веем, посеваем
Овсом, рожью, милостью Божьей.

Все, кого они успели посетить за вечер, проявляли щедрость, и ребята оставались вдвойне довольны.

Зима приносила ещё одно развлечение – катание на коньках. У Зюки имелись ботинки с коньками, а у Ицика и хороших ботинок не было, вечно ходил с мокрыми ногами. Но голь на выдумки хитра, и маленький Ицик мастерил себе «коньки» из деревяшек, которые окантовывал проволокой, обеспечивавшей скольжение, а в верхней части деревяшки прожигал отверстия, пропускал в них куски верёвки и подвязывал сооружение к своей обуви. На таких «коньках» он семенил за своими приятелями по проезжей части окрестных улиц. Высшим шиком было скользить, зацепившись за проезжавшие сани. Наст был твёрдый, обледенелый, а на каток ему было не попасть: вход платный, да и с самодельными «коньками» куда ему в калашный ряд.

Третьим другом школьных лет Ицика был Толик Эггерт, внук старого Гарагули. Дочь грека вышла замуж за немца и родила ему двух детей. У Толика была младшая сестричка Мурочка, совершенно очаровательное голубоглазое создание с золотистыми локонами. Нашему герою она очень нравилась. Он сам был сероглазый и светлорусый и вполне мог бы сойти за её брата. Но он принадлежал другому племени и сословию, и подарков судьбы ждать не приходилось. Толик и Зюка были на год старше Ицика, и, когда он кончал церковно-приходскую школу в 1938 году, они уже были лицеистами. Толик посещал лицей имени Хашдэу, где упор делали на точные науки. Мальчики носили форму и фуражки с кокардой. Но когда выходили поиграть на улицу, форму снимали.

Все охотно играли в казаков-разбойников, в прятки, в «штандыр». Сейчас мало кто знает эту игру. Начиналось всё со считалки, как и при игре



в прятки. Считалки были разными. Например: «На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой? Говори поскорей, не задерживай добрых и честных людей!» На кого выпадал последний слог, должен был сказать, кто он такой. Счёт шёл по новой, и тут уже определялся ведущий – это был или царь, или царевич – один из шестерых, кто сидел на золотом крыльце. Ведущему вручался небольшой резиновый мячик. Потом начиналось самое волнующее. Ведущий должен был подбросить мячик как можно выше и пока он летел в воздухе, все разбегались как можно дальше от водящего. Когда он ловил мяч и кричал «штандыр» (искажённое от немецкого «стой здесь»), каждый застывал на месте. Водящему разрешалось сделать три шага по направлению к любому из игроков и бросить в него мячик, стараясь попасть. Тот, в кого он попадал, выбывал из игры. Однажды ближе всех оказался Зюка, Ицик начал с него и попал. «Ах ты, жид!» - в сердцах бросил ему закадычный друг, как будто ножом полоснул. Ицик побелел. Он продолжал поражать мячиком игроков, но уже без всякой радости. Домой он пришёл чернее тучи, но не рассказал о случившемся, а к Спояловым перестал заходить. Тётя Зина недоумевала, Зюка не признался ей, что обидел друга. Прошло немало времени, прежде чем Ицик простил его.

Кроме считалок на улице в ходу были дразнилки. Нашему герою часто приходилось становится объектом одной из них:

Ицык-шпицык, гринэ жобэ,
Нем а штекен, шлуг ди бобэ!
Ой, вэй, гиб мир тей,
Тей ыз битер, гиб мир цикер,
Цикер ыз зис, ыз мир колт ын ди фис...

Перевести эту абракадабру ничего не стоит, понимала её вся уличная ребятня (Ицык-шпицык, зелёная жаба, бери палку, бей бабу! Ой, больно, дайте чаю, чай горький, дайте сахару! Сахар сладкий, а ногам холодно...), главное в дразнилке – игра рифмами.

В Одессе эта дразнилка звучала по-русски совсем иначе:

Ицик-шпицык, шмаровоз,
Сел на поезд без колёс,
Вместо пули взял цибули
И поехал на войну защищать свою жену.
Ицик на дразнилку не обижался.

У Толика Эггерта он тоже бывал частенько. Их семья имела квартиру в большом доме деда на Георгиевской, у них был отдельный вход. Однажды с Толиком он посетил кондитерскую фабрику его деда, которая тянулась на полквартала. Фабрика славилась конфетами, шоколадными и карамелями, которые широко продавались не только по Бессарабии, но и в Румынии. На конфетных обёртках так и было написано: «Фабрика Гарагули». На фабрике делали торты и пирожные, работал цех, где производили ситро. Это было большое производство, там царила безукоризненная чистота, полы и стены были выложены плиткой, рабочие ходили в белых халатах и колпаках. Поскольку работала вентиляция, соблазнительный запах какао и фруктовых эссенций витал над кварталом.

У Гарагули был огромный сад, больше чем у Спояловых. Мальчишки, конечно паслись в нём. Паслись не только свои, но и чужие, пролезавшие в сад через лаз под котельцовым забором. Однажды друзья застучали охотника до чужих яблок. Он уже успел набрать пазуху спелых плодов белого налива, а ребята в это время, поливавшие из шланга кусты



малины, заметили его и подняли крик. Воришка резво спустился с дерева и пустился наутёк. Направив на него шланг, друзья преследовали беглеца. Но вот незадача: он застрял в лазе, яблоки мешали ему выбраться. Этот «душ шарко» запомнился ему надолго. А лаз был заделан.

Походы к Бычку тоже были по-своему интересны. На берегу стояла мельница Векслера, в ребячьих глазах – огромная, четырёх- или даже пятиэтажная. Они поджидали, когда из мельницы начинали выпускать тёплую воду и с визгом бросались под тугую струю. А ещё можно было перейти по мосту за Бычок и углубиться в причудливые закоулки стоящих на том берегу дачек, принадлежащих некому *колонелю* – полковнику, который их сдавал на лето еврейским семьям среднего достатка. Небольшие садовые участки были огорожены низкими заборчиками-плетнями, за деревьями и кустами скрывались небольшие домики-мазанки, белённые в весёлый голубой цвет. Оттуда доносились детский смех, женские голоса и вкусные запахи, причем запах жареных перцев, гогошар и синеньких (баклажан) заглушал все остальные. Это был своего рода чеховский вишнёвый сад, доставшийся румынскому Лопахину, разбитый на небольшие участки и приносящий доход. Мальчишкам нравилось заглядывать через плетень и наблюдать чужую жизнь.

Иногда Ицик с Толиком уходили в центр, где на Александровской на углу Полицейского (ныне Театрального) переулка на первом этаже большого двухэтажного дома находился кафетерий, принадлежавший тёте Толика, Нюре Гарагули. Сейчас там располагается аптека. В летнее время возле кафе стояли столики, завсегдатаи - состоятельная публика. По соседству был городской сад, в центре которого построили ротонду, где постоянно выступал духовой оркестр 7-го стрелкового полка во главе с усатым капитаном. Оркестр играл лёгкую классическую музыку Ей внимали публика и бронзовый Пушкин.

Выбравшись в город, Толик с другом заходили к тётушке в её заведение. Она усаживала мальчиков в уголок и угощала пирожными и ситро. Такие визиты случались не часто, а потому в жизни Ицика становились событием. Неподалёку располагалась Митрополия, и там на первом этаже Серафимовского дома, кроме книжных магазинов, манивших Ицика, находилась кондитерская и кафетерий «Замфиреску». На улице за столиками под зонтиками сидели дамы в роскошных туалетах и вкушали немислимые яства, но вход туда мальчишкам был заказан.

Все праздники были по-своему хороши, но с особым нетерпением Ольшанский ждал 10 мая, когда в городе отмечался День независимости Румынии. В этот день на Александровской улице проходил парад. Ицик заранее пробирался к Арке Победы, которая была воздвигнута в XIX веке в честь победы русского оружия над турками. Позади неё высились колокольня и Собор, а перед ней, на другой стороне улицы, раскинулось подворье – Митрополия с Дворцом архиепископа в центре. За дворцом простирался огромный сад, тянувшийся до Киевской улицы. Чистая публика занимала места по обеим сторонам Александровской, и мальчишке с предместья было не протолкнуться в первый ряд. Потому, дождавшись, когда труба подавала сигнал «Слушайте все!» , что означало начало парада, он забирался на выступ арки, откуда ему было видно всё.

Парад открывали ученики Военного лицея (бывшего кадетского корпуса). Впереди шествовал стройный офицер-музыкант со сверкающей металлической лирой, украшенной по бокам золочёными шнурами с кистями. Он возглавлял оркестр и открывал парад. Первыми шли маленькие



барабанщики, они задавали ритм: там - тарарамтам - там – тарарамтам – там – тарарамтам – там - там - там! Затем вступал духовой оркестр. Военный оркестр отличался от других тем, что за барабанщиками шёл целый ряд саксофонистов. Саксофонов больше ни у кого не было. Да и форма первых марширующих выглядела наряднее, чем у остальных. Они лучше других чеканили шаг: всё-таки будущие офицеры! Ицик был от них в восхищении. Особенно завидовал он барабанщикам.

За будущими офицерами на площадь вступали лицеисты со своими оркестрами. В городе было несколько лицеев, куда дети состоятельных родителей поступали после начальной школы. В лицеях обучение продолжалось 8 лет, выпускники сдавали экзамен на бакалавра, его принимали профессора при Ясском, Клузском или Бухарестском университетах. Выдержавшие экзамен могли поступать в высшие учебные заведения Европы. Собственно говоря, лицеи – это бывшие русские гимназии царского времени, румыны не на пустом месте начинали.

Все лицеи были представлены на параде. Вначале шёл классический Лицей Александру Дониц , за ним - Лицей имени Алеку Руссо (его иногда называют реальным училищем, он располагался в красивом трёхэтажном здании на улице Пирогова, ныне – Когэлничану, сейчас там – филологический факультет университета), затем - Лицей имени Богдана Хашдеу, следом – Лицей имени Михая Эминеску, располагавшийся на Садовой, и, наконец, Коммерческий лицей, помещавшийся на Могилевской. Кстати, самым лучшим лицейским оркестром, кроме военного - тот вне конкуренции - был оркестр Коммерческого лицея; большую честь оркестрантов в нём составляли евреи. Все лицеисты носили форму, которая различалась цветом петличек и околышей фуражек: красные, синие, зелёные и жёлтые.

Нашему маленькому герою довелось лицезреть румынского короля Карла II Гогенцоллерна и наследника престола Михая во время их визита в Кишинёв в 1939 году. Они медленно проезжали по Александровской в роскошной машине - чёрном Мерседес-Бенце с откидным верхом оливкового цвета, а народ приветствовал высоких гостей. Ицик запомнил, что король был очень красив и элегантен.

Видел он и королеву-мать Марию, урождённую принцессу английскую. Она была уже немолода, но былая красота не поблекла. Её маршрут проходил через улицу Георгиевскую. Открытое ландо, запряжённое четвёркой лошадей, остановилось у Георгиевской церкви, где её и увидел наш Ицик. Учеников церковно-приходской школы построили справа во дворе для приветствия. Затем кортеж двинулся вниз по улице мимо дома, где жили Ольшанские, и свернул налево к Вознесенской церкви. Рядом с ней находился сиротский приют, попечительницей которого королева являлась. Он и был целью её визита.

В городе славилась женская гимназия, носившая имя вдовствующей королевы – *Regina Maria*. Она располагалась в великолепном двухэтажном здании на углу Пушкинской и Подольской, а чуть ниже по Пушкинской находилась их гимназическая церковь работы Бернардацци, которую посещали гимназистки и ученицы соседней много более демократической гимназии имени княгини Дадияни, на деньги которой было построено прекрасное двухэтажное здание (также по проекту Бернардацци) на углу Киевской и Пушкинской. Сама княгиня была с момента основания директором этой гимназии. Сюда принимали девочек и из состоятельных еврейских семей. Обучение велось на французском языке.



Ни с одной из гимназисток Ицик в своём отрочестве знаком не был, но на центральных улицах и в городском саду он иногда на них заглядывался. Впрочем, на Георгиевской проживали две гимназистки – дочери хозяина кожанной фабрики Бербера. На Ицика они взирали надменно-презрительно. Но в махале о них шла слава как о девицах «ещё тех», а махала, как известно, знает всё. Пример берберовых дочек подтверждал правоту стариков, брюзжавших о повсеместном падении нравов.

Политика стучится в дом

В анналах семьи сохранился непроверенная история о встрече Ханны Райгородской с тогдашним бандитом, а впоследствии легендарным комбригом Красной армии Григорием Котовским. Встреча была мимолётной, и произошла она якобы в Кишинёвской тюрьме, которая высилась уже сто лет как настоящий замок, пока не разрушилась во время землетрясения 1940 года. Что привело добропорядочную Ханну в тюрьму? Туда был помещён её младший брат Йонтл за членовредительство с целью уклониться от службы в армии. Время было военное, началась Первая мировая война, и Йонтла ждало суровое наказание. Во время свидания с братом она якобы и увидела бритого наголо молодого человека в кандалах, который ходил кругами по тюремному двору. Котовский, если это был он, тоже заметил молодую еврейку и поинтересовался у Йонтла, кто эта симпатичная девушка. На этом всё и кончилось.

Жизнелюб Котовский и впрямь имел любовницу-еврейку, причём жила она на углу соседней Вознесенской и Ивановской улиц, а сам он скрывался в «малине» на Титовской. Молдавский Робин-Гуд был парень не промах, за что и поплатился. Но ведь предупреждала пушкинская Клеопатра: «Ценою жизни ты мне заплатишь за любовь!» Но Котовский не читал Пушкина, хотя и учился некоторое время в реальном училище.

Семейную легенду пришлось опровергать мне (занятие неблагоприятное!). Путём нехитрых разысканий выяснила, что в эту пору Котовский пребывал на свободе, к тому же за пределами Кишинёва. А в целом семейство Ольшанских и вся их немалая мешпуха (родня) были далеки от политики. Но как это иногда бывает, в стаде завелась паршивая овца. Собственно, овца оказалась пришлой: Рейзл, старшая сестра Ханны, в начале войны вышла замуж за профессионального революционера. Возможно, он был «бундовцем». (Бунд – авторитетная социал-демократическая организация еврейских рабочих и ремесленников, почти сразу вошедшая в РСДРП, с 1906 года разделяла позиции меньшевиков.) Новый член семьи весь был в делах партии. Бабушка возмущалась: «Где это видано, чтобы жена работала, а муж таскался по собраниям и митингам?!» Зять был в её глазах «абсолютное ничто, «гурнышт». На одном из митингов - время было ещё царское - полиция применила водомёт, стояла зима, промокший с головы до пят, муж Рейзл простудился, заболел скоротечной чахоткой и умер, успев оставить после себя младенца Янкеля, которого разбитная Рейзл вскоре отдала на воспитание родителям «непутёвого» мужа.

Вчитываясь в «Записки губернатора» князя С.Л.Урусова, я нашла там кое-что и по интересующему меня вопросу. Вот что он пишет относительно революционности евреев края: «В кишинёвском еврействе замечался несомненный раскол между старшим поколением, настроенным не революционно, мечтавшем только о хлебе насущном, и молодёжью, увлечённой идеей активного участия в революции. Вообще кишинёвский



Израиль не был воинствующим, и у меня сложилось убеждение, что среди наших евреев склонность к спокойному буржуазному существованию, равнодушие к идейной стороне всякого рода политики, пожалуй, сильнее, чем у прочих населяющих Россию народностей. По крайней мере в Кишинёве революционные евреи, в бедных слоях населения, представляли собой почти сплошь зелёную молодёжь».

Конечно, говоря о ментальности бессарабских евреев, нужно учитывать, что они долгие годы проживали в сёлах рядом с молдаванами и находились под немалым влиянием молдавской деревни с её косностью, замкнутостью, отъединённостью от внешнего мира. На это указал Ицхак Корн, старый бессарабец, ещё недавно возглавлявший в Израиле «Бейт Басарабия» (Бессарабский дом). Ещё более значительным было влияние хасидизма на еврейскую массу, особенно в первой трети XIX века, когда в Бессарабию переселилось много евреев из Малороссии и Галиции, где позиции хасидов были особенно сильны. Существует мнение, будто хасидизм спас евреев Бессарабии от ассимиляции. Однако, отрицая идеи Хаскалы, препятствуя светскому образованию бессарабских евреев, хасидские раввины обрекали их на застой и отставание от цивилизованного мира. Дух просвещения, стремящийся высвободить еврейское сознание из дряхлеющей раввинской схоластики, был гораздо сильнее в Литве. Достаточно сравнить «литваков», которые считали себя «солью» восточно-европейского еврейства, с бессарабцами, чтобы почувствовать отсталость последних, их образ жизни был намного патриархальнее. Вместе с тем, в бессарабских евреях, живших бок о бок с молдаванами, было больше простоты в отношениях, больше склонности к труду на земле, готовности довольствоваться малым. Потому-то Урусов и полагал, что бессарабское еврейство в целом спокойно и далеко от политики, а «зелёная молодёжь» пошумит-пошумит и утихнет.

«Мне они казались почему-то игрушечными революционерами... и даже через два года, в период усиления революции, бессарабские евреи не создали в пределах губернии какой-либо особенно заметной революционной организации», - писал князь Урусов в 1907 году. Между тем, ленинскую «Искру» в 1905 году печатали и оапрост раеняли сплошь евреи.

Еврейство Бессарабии (с одной стороны, его беднейшие слои, а с другой – образованные) при румынах, т.е. уже через одиннадцать лет после того, как были изданы «Записки», резко полегло. Рост эксплуатации со стороны богачей, в том числе и еврейских, бесправие при полицейском терроре, - румынская жандармерия отличалась особой свирепостью, - поборы чиновников, издевательства над безграмотным людом, антисемитизм вызывали естественный протест. В этих условиях агитация левых партий, в том числе и коммунистов, встречала отклик, тем более что все сулили новую справедливую жизнь, перемены к лучшему. Представители сионистских партий, - а их тоже было много, и их влияние пересилило хасидское, - стремились воспитать в молодых евреях чувство личного достоинства, и это им удалось. Ольшанский вспоминает, что в 1930-е годы у всех на слуху были имена Жаботинского, Трумпельдора и очень популярна была молодёжная организация «Бейтар». Ицик надеялся, когда подрастёт, стать бейтаровцем. У них был свой гимн, из которого он запомнил только слова: «Помни, еврей, ты –царь, ты –потомок царей». Слова эти наполняли гордостью и воодушевляли местечкового мальчишку. И случилось то, чего не ожидал бывший губернатор: зелёная еврейская молодёжь, выглядевшая в его глазах игрушечными революционерами,



преобразилась. Сорока лет хождения по пустыне не понадобилось. Вот тому несколько примеров.

Забегая вперёд, скажу, что сразу после войны, в 1946 году, у Ольшанского появилась подружка по техникуму - Майя Швидкая, с которой он дружен поныне, хотя занесло её на склоне лет аж в Австралию. Судьба её семьи заслуживает особого рассказа, но её фрагменты сплетаются с нашей историей, и мы ими пренебрегать не будем. Родители Майи были румынскими коммунистами. Отец, Давид Мордхович Швидкой, родившийся в Кишинёве в 1898 году в многодетной семье, рано заразился идеями коммунизма и включился в революционное движение. Как один из руководителей подпольного Бессарабского военно-революционного комитета он проходил по громкому «Процессу 108». Военный трибунал, заседавший с 24 июня по 29 августа 1919 года в здании на углу Киевской и Харузинской (при Советах – улицы Горького, ныне – Марии Чеботарь) вынес суровые приговоры: 19 человек – к смертной казни, 21 – к пожизненному заключению, остальные - к разным срокам тюремного заключения. Давиду шёл 21-й год, когда он оказался в печально известной румынской тюрьме Дофтана. Две его сестры-подпольщицы оставались на свободе.

Мать Майи, Флешлер Лия Самойловна, родилась в Оргееве в 1903 году. Два её брата и три сестры с юных лет состояли в коммунистической ячейке, а их мать прятала партийную печать в каблуке своей туфли. В 1922 году Лию и старшего брата Моисея арестовали. Они подвергались жестоким пыткам. Лия - синеглазая красавица, её чёрные волнистые волосы были заплетены в две тугие косы ниже пояса. В Дофтани её за косы подвешивали и били, требуя назвать «главарей». Лия всё выдержала.

Между тем, в Румынии продолжались преследования: за «Процессом 108», последовали «Процесс 500», «Процесс 113», «Процесс 43». Дела революционного подполья, демонстрантов, участников рабочих собраний, крестьянских сходок рассматривал военно-полевой суд. Разговор с бунтовщиками был короткий: расстрел, заточение. Погибли сотни людей. Значительную часть составляли евреи. На кладбище Беллу в Бухаресте есть памятник Героям - борцам за свободу народа и родины, за социализм. Среди 77 имён – 20 точно еврейские.

После 1924 года, когда образовалась Молдавская автономная советская республика с центром в Балте, вошедшая в состав Украины, начался обмен политзаключёнными между Румынией и Советами. Белогвардейских офицеров, которых не успели расстрелять, обменивали на коммунистов-подпольщиков, попавших в руки сигуранцы. Родители Майи, не знакомые друг с другом, оказались в группе политзаключённых, подлежащих обмену. По документам они проходили как муж и жена. Фиктивный брак стал реальным. Оба активно включились в строительство социализма, работали в центральных органах управления МАССР вначале в Балте, а потом в Тирасполе под руководством Старого (Г.И.Борисова). Заместителем Старого был старший брат Лии, Моисей, его друг по подполью, тоже сменивший фамилию на партийную кличку Аненский. Эти молодые евреи были преданы советской власти, партии большевиков, идеология которой – интернационализм – была созвучна надеждам бедняков-евреев на их равенство с остальными гражданами страны. В известном смысле они и стали первыми советскими людьми задолго до того, как было провозглашено в СССР создание новой исторической общности – советского народа.



В то время как Румыния всё больше проникалась нацистским духом, в СССР шли бесконечные процессы против врагов народа. В жернова сталинской мясорубки попадали прежде всего самые преданные делу социализма люди, стало быть и евреи.

В 1937 году были арестованы и расстреляны почти все члены ЦК МАССР и другие руководящие работники, в их числе - Старый и брат Лии, Моисей Аненский (в ту пору председатель Тираспольского горсовета), и её муж, Давид Швидкой (директор хлебозавода). А вскоре арестовали и жён. Взяли их на вокзале в Тирасполе, когда женщины с четырьмя детьми пытались уехать в Одессу к родственникам. Дети, старшей из которых было шестнадцать, а младшему полтора года, добрались до Одессы без мам, билеты у них имелись. Но у родственницы накануне арестовали мужа, и сама она осталась с тремя детьми мал мала меньше. Не в силах принять тираспольскую ораву, она отправила их назад. Обе квартиры оказались опечатаны, но у Швидких имелась большая терраса, где дети поначалу устроились, благо на дворе стояло лето. Жалостливые соседи подкармливали их с неделю, а потом заявили в милицию, и детей разбросали по детским домам. Так советская власть, или, как её станут называть диссиденты, «Софья Власьевна», «благодарила» тех, кто готов был за неё положить жизнь.

Ольшанский помнит и другую историю. У отца ещё до его рождения был ученик, молодой высокий еврейский паренёк, осваивавший сапожное дело. Потом он исчез. Спустя годы Ханна Ольшанская заметила бывшего ученика в толпе на базаре и окликнула его на идиш. Он обернулся, услышав своё имя, но ответил Ханне, что она обозналась, ошиблась, и тут же исчез, растворился в базарной толчее. Прошли годы. В первый послесталинский год в квартирку Ольшанских на Георгиевской постучался худой измождённый беззубый мужчина. Это был бывший ученик отца. Прихлёбывая чай, он поведал свою эпопею, признавшись, что тогда на базаре мама его опознала, она не ошиблась. Он не мог ей открыться. Это было чрезвычайно опасно, поскольку проник он в румынскую Бессарабию по заданию партии нелегально. Членом коммунистической ячейки он стал ещё будучи учеником сапожника, т.е. в середине 1920-х годов. Ему приходилось не раз переходить границу, переправляясь через Днестр с помощью надёжных лодочников в районе Старых Дубоссар, Вадулуй Водэ или Малоешты, и выполнять ответственные задания, и он ни разу не отказался, хотя уже был женат и даже стал молодым отцом. Но в 1937 году его арестовали как румынского шпиона. В отличие от многих бессарабских коммунистов-евреев, оказавшихся в СССР, он не был расстрелян, его приговорили к ссылке, и начались его странствия по бескрайнему архипелагу ГУЛАГ. Ему и здесь повезло: он выжил, хотя и стал инвалидом. Жена давно от него отказалась. Он решил вернуться на родину. В Кишинёве его пристроили на работу в профсоюз сапожников. Как сложилась его жизнь – неизвестно. Он был одним из многих, кто удостоился «благодарности» советской власти и теперь переживал крушение иллюзий.

Но мы вернёмся во времена, когда революционные идеи лишь начали овладевать бессарабскими массами. Расправившись с крестьянскими восстаниями в Хотине (1919), Бендерах (1919), Татарбунарах (1924), правительство Румынии принялось за закопёрщиков: партия коммунистов в Румынии была в 1924 году запрещена, поскольку она поддерживала и внушала крестьянам и городской бедноте крамольную мысль о необходимости воссоединения Бессарабии с советской Россией, которое,



как им казалось, принесёт трудящимся избавление. В известной мере их деятельность направлялась «рукою Москвы», что подтверждает рассказанная выше история. Коммунисты перешли на нелегальное положение, но были, как и прежде, организованы в ячейки. Политическая полиция - сигуранца старалась внедрить в их ряды своих агентов, и горе тому, кого разоблачали.

Ольшанский вспомнил историю наборщика-коммуниста Вайнберга, жившего через дом от них. В ячейке был выявлен провокатор, по решению тройки его следовало убить. Исполнителя определил жребий. И вот маленькому, щедедушному Вайнбергу выпало выполнить приказ партии. Неизвестно как, но он сумел заманить предателя в подвал, где и привёл приговор в исполнение. Через день улица была полна полицейских, вначале извлекли труп, затем арестовали Вайнберга. Он был осуждён. Этот экстремальный случай долго обсуждали во дворе.

Под влиянием событий 20-30-х годов «еврейская улица» изменилась. Появился «новый тип» евреев-тружеников, обладавших чувством достоинства, они начали организовываться. Политических партий было много. Коммунисты не были единственными. Эсеры, бундовцы в Советском Союзе были разгромлены, но в Румынии ещё существовали, враждовали между собой и продолжали борьбу за свои идеалы, и у них тоже были свои сторонники, а, кроме того, активно действовали различные сионистские организации.

Старшие сестра и брат Исаака входили в организацию Поалей Цион – детище Рабочей партии Бен-Гуриона. Их агитировали ехать в Палестину, создавать киббуцы, осваивать новые земли. Собрания проходили в большом здании на углу Харлампиевской и Болгарской, где обосновалась вполне легальная при румынах организация Поалей Цион. Помимо пропагандистских акций, там устраивались молодёжные вечера, танцы, и маленький Ицик, не допущенный внутрь, прилипнув к окошку, наблюдал за весельем еврейской молодёжи. Правда, сестра, добившись значительных успехов в портняжном искусстве (она была модисткой), в 1937 году уехала в Бухарест, где за три года очень преуспела. Так что Ицик лишился зрелища. На этом его контакты с сионистской молодёжью и закончились.

Сестре мальчик был обязан и своим приобщением к театру. Еврейский театр размещался на Шмидтовской позади базара. Дирижёром и первой скрипкой оркестра был старший брат жениха Рахили Рефуль Шварцберг. Он давал ей контрамарки, и таким образом её братишка мог посещать представления, которые шли на идиш. Первый же спектакль «Жертвоприношение Ицхака» произвёл на него неизгладимое впечатление, поразил до слёз. Он и сейчас помнит сложенные на сцене поленья, под которыми разгоралось пламя (много позже он сообразит, что там была спрятана красная лампа и что-то вроде вентилятора, который приводил в движение «языки пламени»). Помнит он и белого ангела с крыльями, который спускался с неба и останавливал занесённую с ножом руку Авраама. За два года он пересмотрел там много спектаклей (даже с Сиди Таль), но они не запали ему так в душу, как тот, первый. А его маме довелось видеть в Кишинёве спектакль, где играла будущая знаменитость Европы актриса Ида Каминская, кстати, уроженка Одессы. Кстати, её дочь станет женой Эди Рознера.

Менялись не только евреи, перемены происходили и в метрополии: в 20-30-е годы в Румынии действовали пять профашистских партий. Самыми активными были «Лига национально-христианской защиты»,



организованная в 1923 году профессором Ясского университета Александру Куза. Это был антисемит со стажем, сподвижник небезызвестного Крушевана. Одним из лидеров в ней был Октавиан Гога, совмещавший поэзию с коммерцией и политикой, такой же паталогический антисемит, как и основатель «Лиги». Их сторонников называли «кузистами». Вторая националистическая партия «Союз Архангела Михаила» была создана Корнелиу Кодряну, который будучи мистиком уверял, что ему было видение Михаила Архангела. И хотя по ассоциации тут же всплывает в памяти Чёрная сотня царской России, нужно признать, что Кодряну в отличие от своего отца не был антисемитом, из-за чего и разошёлся со своим наставником Кузой. В этом его поддержал известный интеллектуал Мирча Элиаде. Главным врагом, по мысли Кодряну, были не евреи, а коррупция, которая поразила все поры румынского общества, проникнув даже в правительство. Его партия стала интеллектуально-идеологической сердцевиной «Железной гвардии», которую Кодряну основал и возглавил в 1930 году. Она была популярна в массах, особенно в крестьянских, ибо «железнодорожники» практиковали хождение в народ. Ряды «гвардии» быстро пополнялись за счёт люмпенов и городской черни, и потому вскоре она стала вполне антисемитской. Организация была отчасти военизированной и строилась по принципу немецких штурмовых отрядов Рема. Корнелиу Кодряну, человека железной воли и дисциплины, называли *Капитаном*, его авторитет был чрезвычайно велик. Он призывал соотечественников к духовной революции.

Что касается короля, то Карл II (Кароль – по-румынски), занявший престол в 1930 году, быстро дрейфовал от демократизма к авторитаризму, от англomanии к соглашательству с гитлеровской Германией. Он был не прочь стать румынским Муссолини, подражал дуче во всём: у него даже любовница была красавица-еврейка (в изгнании он женится на ней). «Железнодорожников» король пытался приручить, но при этом их боялся, а «кузистам» доверял. На исходе 1937 года он одобрил ультра-правое правительство Гоги - Кузы. Оно продержалось у власти полтора месяца. Гога, настроенный пронацистски, объявил, что центральным пунктом его политики будет борьба с еврейством во имя принципа «Румыния для румын». Еврейский историк С.М.Дубнов свидетельствует: «Правительство Гоги немедленно декретировало ряд репрессивных мер, прямо заимствованных из программы германского расизма: закрыть крупнейшие либеральные газеты в Бухаресте под предлогом, что в них участвуют евреи; запретить румынским женщинам моложе 40 лет служить в еврейских домах; исключить всех еврейских врачей из больничных касс; подготовить исключение всех еврейских адвокатов из адвокатского сословия, а пока запретить им выступать в суде; подготовить румынизацию торговли и промышленности путём удаления оттуда евреев».

В начале января 1938-го Гога открыто объявил войну евреям, закон «О проверке гражданства» лишал евреев Бессарабии румынского гражданства, а без него нельзя было заниматься частно-предпринимательской деятельностью. Тысячи людей стали покидать страну антисемитской диктатуры. Шести недель хватило, чтобы король понял, что министерство Гоги с треском провалилось. И уже в феврале 1938 года Кароль разогнал парламент, распустил правительство Гоги-Кузы и установил личную диктатуру. Гога от огорчения через пару месяцев испустил дух. Опасаясь руководителя «Железной гвардии» как потенциального соперника, король приказал его арестовать. Партия



подверглась жестоким репрессиям, её членов сотнями бросали в тюрьмы. Летом 1938 года Кодряну был предательски убит якобы при попытке к бегству. Забегая вперёд, заметим, что поскольку Корнелиу Кодряну был приверженцем идеи Великой Румынии, его имя сегодня начертано на знамени румынских националистов и молдавских унианистов.

«Кузисты» и «железнодорожники» действовали в Бессарабии и Кишинёве не столь активно как в метрополии. Местное население не видело большой разницы между этими профашистскими партиями. Уже в 1930 году они организовали погром еврейских заведений в центре города. Громилы называли себя «легионерами». Пойди - разбери, кто есть кто.

В 1938 году политика настойчиво стучалась в двери ко всем. После «Хрустальной ночи» в Германии, когда 9 ноября 1938 года запыхали синагоги, были разбиты витрины еврейских магазинов и осколки стекла засыпали тротуары, обогранные еврейской кровью, «железнодорожники» консолидировались и, восстав из пепла, решили, что наступил их час. Они явно готовили государственный переворот. Карл II, отмечая тактику легионеров, разделял их идеологию. Фашистская идеология распространялась и в Бессарабии. Антисемитские настроения активизировались в низах, и даже отрок Ольшанский связывал происходящее вокруг с событиями, которые разворачивались в Европе с приходом к власти Гитлера. Он прислушивался к разговорам взрослых и сам читал газеты. Имена Чемберлена, Даладьё, Бенеша он запомнил с тех самых времён.

В сентябрьский день 1939 года тётка нашего героя, уже немолодая Блюма Ольшанская (в замужестве Райгородецкая), проживавшая на Гуцулёвке, примыкавшей к махале Ольшанских, но славившейся беспредельным бандитизмом, собралась, как обычно, по воду и отправилась к будке с колонкой. После смерти мужа она осталась с пятью детьми и пропала бы, если бы не помощь состоятельных евреев. Бабушка подкармливала по субботам внуков, детей покойного Шики, но прокормить их не могла. Блюма обратилась в благотворительное «Общество пособия бедным г. Кишинёва». Они поначалу помогали семейству продуктами (мукой, крупой), а потом сказали Блюме: «Мы тебе не рыбку будем давать, а дадим удочку. Научись ловить рыбку сама!» И посоветовали открыть на базаре лоток или лавочку, где она смогла бы торговать поношенными вещами, которыми они её будут снабжать бесплатно. А вещи они получали из домов состоятельных людей. Как ныне *second hand*. И что вы думаете? Блюма сумела развернуться, и дело пошло. Смогла поднять всех детей. И вот именно ей хозяин колонки отказался продать ведро воды: «Пошла вон, старая жиловка! Ишь, воды захотела! Не будет вам, жидам, воды!»

Вернувшийся домой один из трёх сыновей Блюмы застал её в слезах. Надо сказать, что Фима (он же Хаим) был достоин своей среды обитания. Он давно стал грозой Гуцулёвки, и достаточно было Ицику сказать мальчишкам, подступавшим к нему с кулаками, что он пожалуется брату Фиме, как их ветром сдувало. Бандитских районов подобных Гуцулёвке в Кишинёве было несколько: большая и малая Малина, Милистиу, Скулянка. В каждом были свои «герои». Самой прославленной была Малая Малина, где ютилась высшая блатная знать: первые в городе воры, сутенёры, хулиганы, налётчики. С наступлением темноты туда лучше было не соваться.

С детских лет Фима был помешан на технике, он рано устроился на работу к хозяину мастерской, где ремонтировали мотоциклы и велосипеды.



Хозяин Ротару, чемпион Европы по мотоспорту, оценил способности подростка. Прошло несколько лет. Он поручал Фиме обкатывать отремонтированные мотоциклы, и тот гонял по городу с безумной скоростью. Резко осадив, вздымал своего стального коня на дыбы, а затем, развернувшись на заднем колесе, вновь бросался вперёд со страшной силой.

Как раз накануне дня, когда обидели мать, у Фимы вечером было столкновение с «кузистами». Он прогуливался с двумя барышнями по Александровской, когда у входа в городской парк к ним подошли два щеголеватых юнца с нарукавными повязками, украшенными свастикой. Подхватив его спутниц под ручки, они потребовали, чтобы «жидан» проваливал. Описать, что тут произошло, не может никакое перо, будь оно трижды стальное. Великий господарь Молдовы Штефан чел Маре взирал на побоище с высоты постамента надменно и отстранённо. Схватка была короткой, можно сказать, мгновенной. Фима не бил ногами поверженных соперников, он только одёрнул закатавшийся рукав, пригладил волосы, наклонился и сорвал с руки недвижимого противника нарукавную повязку, трубно высморкался в неё и бросил на память незадачливому хозяину. Затем он подошёл к перепуганным девушкам и как ни в чём не бывало продолжил прогулку. Это происходило вчера. И вот сегодня - история с водой!

Выслушав мать, Фима взял ведро и двинулся к будке. Хозяин отказался продавать ему воду. Этого Фима и ждал. Для начала он оторвал от проёма двери метровую железную перекладину, на которую, когда будку запирали, навешивался замок. Хозяин с криком было бросился на хулигана, но Фима загнал его внутрь и выломанной железкой метелил, приговаривая: «Жида не умоются водой, но ты умоешься кровью!» Бросив орудие «воспитания» возле бездыханного обидчика матери, он спокойно набрал ведро воды и вернулся домой. После чего оседлал мотоцикл и рванул во двор к Ольшанским. Мотоцикл был укрыт в сарайчике, а Фима неделю, пока его искала родня избитого, отсиживался у дяди с тётёй. Он был полным племянником каждому из них, потому что его мать Блюма Ольшанская, сестра Мотла, вышла замуж за брата Ханны Райгородецкой, Шику. У родни мститель был в безопасности. Но главное - на него работало само время. На дворе стоял сентябрь 1939 года. Известие о вторжении немцев в Польшу было отодвинуто событиями, которые разыгрывались под боком. Верно кем-то сказано: если даже ты не интересуешься политикой, то политика заинтересует тебя.

По примеру легионеров Бухареста местные «железнодорожники» повесили на главной улице огромную фашистскую свастику, украсив её голубыми лампочками, которые сияли несколько ночей напролёт. Почти одновременно на Георгиевской улице тоже появилась растяжка со свастикой из жести, укреплённая на двух столбах. Евреи напряглись и затаились. Призрак погрома повис над городом. Но свастика на Георгиевской красовалась недолго. Евреи Кишинёва за 35 лет переменились: то ли поэма Бялика «Сказание о погроме» возымела действие, то ли выросло новое поколение.

Молодой сосед Ольшанских приказчик Борух, вскарабкавшись на столб (столбы были деревянными), сорвал проволоку, затем оседлал второй столб, и через мгновение свастика валялась на мостовой. Спрыгнув вниз, Борух начал топтать её на глазах изумлённых прохожих и глазевших из окон соседей. «Ну, подходите! Кто хочет получить, подходите!» - кричал он, но



никто к нему не приблизился, и, смачно сплюнув на поверженную свастику, еврейский смельчак скрылся во дворе.

В этот же день произошло несколько столкновений с «легионерами» возле дорогих еврейских магазинов и гостиниц на улицах в центре. На охрану их добровольно пришли рабочие еврейской скотобойни с Мунчешть. Это были ребята невероятной силы, способные ударом свалить быка с ног. Привычные к виду крови, они ничего не боялись. Ходили слухи, что, нарушая еврейский запрет, они стаканами пили кровь забитого животного, возможно, это придавало им сил и агрессивности. Вскоре к ним присоединились рубщики мяса и мясники с припрятанными за голенищами ножами. Они встречали группы «легионеров» обидными насмешками, задевали их, провоцируя на драку. Те поняли, что проиграли, и начали потихоньку рассеиваться. Погром не состоялся. А на следующий день пришло тревожное известие из Бухареста: «железнодорожники» убили премьер-министра А.Кэлинеску, бесчинствуют на улицах. Вскоре стало известно, что верные королю войска усмирили бунтовщиков.

Король приказал для острастки казнить по три «железнодорожника» в каждом районе страны. В Кишинёве приказ был незамедлительно исполнен. Трупы трёх главарей были выставлены на всеобщее обозрение. Они лежали на соломе на углу Александровской и Пушкинской в течение трёх дней. На груди у каждого была табличка, на которой грамотей Ольшанский прочёл: «Так будет со всяким, кто пойдёт против нашего короля». Кто тогда мог предположить, что не пройдёт и года, как король в сентябре 1940-го отречётся от престола и сбежит за границу, а вторжение немцев в Польшу обернётся Второй мировой войной ?!

В людях

После окончания церковно-приходской школы пути Ицика и его товарищей разошлись. Митика Мындырштяну поступил в гимназию, Зюка Споялов и Толя Эггерт уже год носили лицейскую форму. А детство Ицика в десять лет с небольшим кончилось. Убрав наградную корону в шкаф, он отправился наниматься учеником в портняжную мастерскую Айзика Гихтея. Гихтеи – целый портняжный клан, три брата занимались пошивом одежды. Айзик специализировался по мужским костюмам. Мастерская находилась на углу Николаевской и Михайловской. Ей было далеко до «Кавалера Шика». Поначалу Ицика ничему не учили, но заставляли работать: подметать, помогать хозяйке по дому, но главная обязанность - готовить утюги для мастеров. Это значило: заложить в каждый порцию древесного угля, разжечь его, а затем махать и махать, чтобы тлеющий уголь от притока воздуха разгорелся. Если утюг был недостаточно горяч, следовала затрещина. А утюгов было три-четыре, они были тяжёлыми, и надо было успеть подготовить все, чтобы не задерживать работу. Ицик был маленького роста, с непривычки быстро выбивался из сил, но старался, как мог. Денег на первых порах ему не платили, а работать приходилось 8, а то и 10 часов.

Ближе к перерыву на обед он бежал по поручению мастера и подмастерьев в колбасный магазин на Александровскую угол Синадиновской. Там находилось два магазина – один против другого. Один из них - кошерный, ему - туда. Он покупал каждому к обеду обрезки колбасы различных сортов. У голодного мальчугана от соблазнительных запахов кружилась голова, он боялся перепутать заказы, тогда трёпки не избежать.



Прошло несколько месяцев, и ситуация изменилась. Начали кое-чему учить. Он уже мог простёгивать бортовку, пришивать тесьму к её краю, подшивать подкладку, разглаживать и обрасывать простые швы у брюк и жилетов, освоил простые виды глажки. Ему даже положили небольшое жалование. Деньги он отдавал матери.

Хозяйка настолько прониклась к нему доверием, что нередко посылала с записками к своему любовнику, так что стал он почтальоном по совместительству. Зато хозяйский сынок, раскормленный лоботряс, изгнанный из гимназии, которого отец решил обучать портняжному делу, взял в привычку издеваться над подневольным мальчишкой. Возомнив себя хозяином, он заставлял его перетаскивать ненужные тяжести, цеплялся, насмехался и допёк Ицика до того, что он однажды запустил в обидчика утюгом. Хозяин его отругал, но этим всё и кончилось.

Рядом с мастерской находилось два мануфактурных магазина. Угловой принадлежал Учителю, там шла оптовая продажа тканей. В магазине отца и сына Эрлихов продавался текстиль – ткани разных видов и всё, что нужно для «приклада»: пуговицы, фермуары, бортовка, саржа, тесьма, нитки и другая мелочь. Однажды молодой приказчик из магазина Учителя стал уговаривать Ицика бросить ученичество у портного и перейти в их мануфактурный магазин. Он отвёл его к хозяину, который был согласен принять проворного мальчугана к себе: «Походишь в учениках, а потом в приказчики выбьешься. Это ведь лучше, чем всю жизнь корпеть с иглой!» Но маленький Ольшанский соблазну не поддался. Надо сказать, что и здесь, начиная карьеру с подметания лавки, мальчик на побегушках, затем приказчик проходил долгий путь, в изобилии усыпанный руганью и подзатыльниками, прежде чем мог открыть собственное «дело». В свои 11 лет Исаак это уже знал. Однако от своего хозяина он всё-таки ушёл и устроился на работу к другому. И было ему в ту пору неполных двенадцать лет. Трудовых книжек в ту пору в Румынии не заводили, да и кто бы сегодня поверил, что рабочий стаж у него пошёл с десяти с половиной лет!

Новый хозяин вначале выяснил, чему научил Айзик своего ученика и охотно принял его, положив жалованье повыше. Ицик чувствовал, что к концу года он сможет перейти в разряд подмастерьев. Хозяин благоволил к нему, и на Песах сделал царский подарок: сшил из остатков хорошей шерстяной ткани (сейчас никто и не помнит таких названий шевиот, коверкот) красивый костюмчик: пиджачок на кокетке, сзади со шлицей, а брючки короткие, до середины икры, на манжетке. Это был его первый хороший костюм, он сидел как влитой, и, выйдя в нём на улицу, маленький Ольшанский произвёл фурор.

На первое полученное им в новой мастерской жалованье мама смогла купить примус. Это было латунное чудо техники на трёх устойчивых ножках, которые, изгибаясь, образовывали над горелкой подставку для кастрюли или чайника. В примус заливали керосин, затем его накачивали, керосин подавался через форсунку, зажигали его спичкой. К примусу дали специальное приспособление для прочистки форсунки (она иногда забивалась) – металлическую пластинку с встроенной тонкой провололочкой. Ицик гордился, что смог заработать на такую важную в домашнем хозяйстве вещь. Но стать портным ему было не суждено.

Виват благотворителям и да не оскудеет рука дающего!

Вникая глубже в историю последыша бедной и в целом неблагополучной еврейской семьи (по каким сусекам поскребли, чтобы испечь пацанёнка – неведомо), я убеждалась в том, что никаких шансов



получить образование в румынской Бессарабии у младшего Ольшанеского не было. Способностями Бог не обидел, желания учиться было не занимать, но путь в лицей или училище был ему заказан. Но ведь выбивались в люди не только дети богатых евреев, но способные мальчики из бедноты. Как? С чьей помощью?

Ицик ещё застал времена, когда община играла заметную роль в жизни евреев. Врач Хаим Зильберман, родившийся в Кишинёве в 1914 году, вспоминает: «До 1940 года еврейская община в Молдавии, можно сказать, процветала. Хотя жили, конечно, обособленно: смешанных браков, например, почти не было. С бытовым антисемитизмом мы в Кишинёве практически не встречались, совсем его не чувствовали в гимназии». Последнее утверждение противоречит тому, что писал Довид Кнут, но, возможно, это объясняется тем, что у подростков было разное окружение: у отца Кнута – жалкая лавочка в закоулке возле вонючего Бычка, а у отца Зильбермана – обувной магазин в центре города на Александровской, к тому же Зильберман учился в гимназии.

В общине и впрямь в ходу была благотворительность. Принцип материальной поддержки и взаимопомощи пронизывал еврейскую жизнь. Богачи вносили большие пожертвования, но и несостоятельные люди, оказывается, не оставались в стороне. Ольшанский вспоминает, что его мать к пятнице всегда приберегала копеечку для бедной еврейки, которая приходила к ним за подаванием. И хотя соседка в сердцах говорила: «Оставьте, Энна, она ест лучше вашего!», это маму не останавливало. Старая бабушка задёшево готовила на свадьбе у бедных девушек, а уж если это была сирота, тут вопрос об оплате её труда даже не стоял. И уснувшую рыбу на рынке в конце базарного дня она могла получить задаром, убедив продавца, что помочь бедняку – это выполнить *мицву* (заповедь).

На деньги местных богачей Перельмутера и его зятя Клигмана в начале XX века в Поповском переулке были построены и содержались синагога и двухэтажная богадельня для евреев. Местная пресса называла строение «изящным маленьким дворцом». При синагоге находилась ешива Цирельсона. Сейчас можно увидеть руины этого сооружения. Тех, кто заинтересуется этим аспектом еврейской жизни, отсылаю к работе молдавского историка Я.М.Копанского «Благотворительные организации евреев Бессарабии в 1919- 1940 годах». Книга вышла в Кишинёве в 2002 году.

На пожертвования богатых людей существовало много образовательных учреждений, возглавляемых попечительскими советами. Исаак помнит сиротский приют для мальчиков на Боюканском спуске; большой известностью пользовалось профессиональное женское училище на Харламповской, где готовили портних, белошвеек, медицинских сестёр; частенько он проходил мимо мужской еврейской гимназии на Иринопольской. Это то, что отложилось в памяти одного подростка, но благотворительных учреждений было гораздо больше. Он помнит о существовании «коробок», или «кружечного сбора», так собирались пожертвования для поддержания сиротских домов и еврейской больницы, а также для евреев Палестины. В Кишинёве помимо хедеров существовало много еврейских школ и гимназий для мальчиков, ешива д-ра Цирельсона, выпускники которой имели право становиться раввинами, преподавателями религии, сойферами (переписчиками Торы), моэями (совершать обряд обрезания), машгирами (наблюдателями за соблюдением кашрута), шойхетами (резчиками скота и птицы). Двоюродный брат Исаака учился в



этой ешиве. Естественно, что для детей состоятельных родителей обучение было платным, но дети из малообеспеченных семей учились за счёт благотворительности. Были в ходу стипендии для одарённых детей бедняков, дававшие возможность юным дарованиям получить образование даже за границей.

Мне довелось разыскать в иерусалимском издании М. Пархомовского «Русское еврейство в зарубежье» воспоминания врачей-хирургов-кишинёвцев, получивших в 30-е годы медицинское образование в старейшем в Европе университете Болоньи, где, как известно, учился ещё Данте. Оба, Нафтали Прокупец и Хаим Зильберман, пишут, что в Румынии государственный антисемитизм особенно насаждался в сфере образования. Поступить еврею на медицинский факультет в румынский университет (любой – Бухарестский, Ясский или Клужский) было практически невозможно. Но существовал выход: учиться в университетах на Западе. По окончании требовалось пересдать экзамены в Румынии, но принимали их справедливо – по реальным знаниям.

Хирург Прокупец вспоминает, что в 1932 году как медалист он всё же прорвался в Ясский университет, но проучиться смог только год. Его «товарищи» про курсу состояли в двух фашистских партиях и студентов-евреев просто избивали. «Были кафедры, в аудиториях которых нас заставляли сидеть на последних рядах – на галёрке, а она была как клетка – с человеческий рост. И попытки бунта жестоко подавлялись. А то, что студенты-евреи не имели право анатомировать труп нееврея! Не так-то просто было найти труп безродного еврея!»

Последовал переезд в Болонью, где засчитали прослушанный в Яссах курс. В то же время там учились кишинёвцы Семён Рехелис, Шуэль Фельдман и несколько студентов из Аккермана и других мест Бессарабии, которых поддерживали еврейские общины. Всё равно ребятам приходилось подрабатывать. Прокупец имел сезонную работу на сборе винограда. Некоторые подрабатывали в столовой: они должны были обеспечить хозяину 9 клиентов, обслужить их. За это получали бесплатный обед.

Учились евреи добросовестно, экзамены сдавали дважды в год с первого захода. Билетов не существовало – вопросы задавали по всей программе. Экзаменовала комиссия из трёх человек, среди профессоров были ученые с мировыми именами. Потому и становились выпускники светилами кишинёвской медицины (Зильберману не повезло: его как классово чуждого «взяли», и с 1940 по 1948 год он «мотал срок» в ГУЛАГе), зато имена Прокупца и Рехелиса были известны всем, последний консультировал уже немолодую Ханну Ольшанскую.

Меня поразило то, что во времена Муссолини бессарабские евреи не испытывали в Италии никаких притеснений. «Местные фашисты вообще евреями не интересовались. За пять лет я в Италии один раз увидел лозунг: «Долой евреев!» – вспоминает Зильберман. – Бытового антисемитизма в Италии тоже не было. Ну просто не было, и всё. По-моему, там все евреи были настолько ассимилированы, что итальянцы их просто от своих не отличали». Читать эти признания мне было чрезвычайно интересно, и сразу возник вопрос: а почему же евреев в Германии, ассимилированных, как говорится, дальше некуда, не просто отличали, но изгоняли и умерщвляли? Видимо, дело в ментальности народа, среди которого это вечно гонимое племя понадеялось найти приют. Но мы отвлеклись от главной темы.

Ольшанский рассказывал, что в 1960-е годы вместе с ним на заводе им.Котовского работало несколько немолодых евреев-бессарабцев, которые



получили профессиональное образование при румынах с помощью ОРТа. Это было нечто вроде советских школ ФЗО (фабрично-заводского обучения), но уровень обучения был выше. Учащимся выдавали форму, их кормили и даже посылали на практику в Бухарест, где были большие заводские машиностроительные предприятия. И тут я вспомнила, что мой отец, воспитанник еврейского сиротского приюта в Одессе, тоже говорил об ОРТе и даже показывал здание, где оно размещалось. В 1915 году в связи с наплывом детей-сирот войны его раньше времени перевели из детского дома в профессиональную школу ОРТа, где он получил специальность моториста.

Чтобы расшифровать аббревиатуру, полезла в Краткую еврейскую энциклопедию и выяснила, что ОРТ - Общество распространения ремесленного и земледельческого труда среди евреев. Эта просветительская и благотворительная неправительственная организация возникла ещё в царское время, но показательно, что в Бессарабии при румынах сохранялось её русское название. Бессарабский комитет ОРТа возглавлял д-р А.Якир. Благотворительное общество ОЗЕ (Общество здравоохранения евреев), основанное в царское время, в советской России было запрещено. А в Бессарабии продолжало функционировать при румынах, но при этом сохраняло, как и ОРТ, русское название, возглавлял его всё тот же А.Якир. Эту фамилию Ольшанский запомнил, потому что в газете «Бессарабское слово», которую читал отец, она мелькала довольно часто вплоть до 1940 года. Из той же газеты подросток узнал о «Джойнте», заокеанской еврейской организации, поддерживавшей деньгами еврейские школы, приюты, и больницы Бессарабии. При советской власти даже упоминать о «Джойнте» было небезопасно.

Но маленькому Ольшанскому и ОРТ ничем не помог. А почему? Община Кишинёва особую заботу проявляла о детях-сиротах. Тогда мужчины в бедных семьях умирали рано, а детей после себя оставляли предостаточно. Но отец Ицика пребывал в добром здравии, в синагогу захаживал, а ещё чаще – в шинок, детей к еврейству не приобщал: ни Ицик, ни старший Шика хедер не посещали, потому о способном ребёнке в общине попросту не знали. За него никто не хлопотал. Однажды заметил мальчонку адвокат Магдер на улице возле витрины книжного магазина, сразу понял, что малыш способный, из него выйдет толк, хотел взять на воспитание и дать ему образование, но натолкнулся на глухую стену непонимания родителей. Магдеру было отказано, зато с пониманием и полным согласием родители отпустили десятилетних детей (всех троих!) в люди - осваивать ремесло и зарабатывать на хлеб. В их кругу так было принято издавна.

Поэтому я и поняла, что шансов получить образование у Ольшанского при румынах не было. Он был слишком мал, чтобы самому обратиться за помощью в общину, но при этом способен в десять с небольшим наняться на работу к портному.